

*Мария и Уоранилова*

# ПОВЕСТИ

Разные бывают люди • Охотник Кереселидзе



**Мариам Ибрагимовна Ибрагимова**  
**Разные бывают люди. Охотник**  
**Кереселидзе (сборник)**  
Серия «Мариам Ибрагимова. Собрание  
сочинений в 15 томах. Том», книга 9

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=33395335](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33395335)*

*Разные бывают люди. Охотник Кереселидзе: ТД «Белый город»; М.;  
2017*

*ISBN 978-5-906727-05-3*

### **Аннотация**

Повесть «Разные бывают люди» – об испытаниях, выпавших на долю казаков в годы Великой Отечественной войны. Действие основано на реальных событиях одной станицы.

Долго искал свою дорогу в жизни Антони, герой повести «Охотник Кереселидзе». Он познал всё: и верность друзей, и предательство близких. Смелый охотник, отличный знаток гор. На трудном жизненном пути Антони остался поборником добра, благородства, дружбы, любви к людям.

# Содержание

Разные бывают люди	5
Конец ознакомительного фрагмента.	116

**Мариам Ибрагимова**  
**Разные бывают люди.**  
**Охотник Кереселидзе**

© М.И. Ибрагимова, наследники, 2017

© ТД «Белый город», 2017

# Разные бывают люди

## 1

В тот тревожный ноябрьский день сорок первого год на тихом полустанке, затерянном в предгорных степях При-теречья, было непривычно шумно. В мирные дни здесь не только не останавливались, но даже не замедляли ход поезда дальнего следования. Разве только рабочие да пригородные задерживались на минуту, чтобы дать возможность сойти случайным пассажирам. А тут вдруг растянулся и застыл целый военный состав. И как было ему не застыть, когда в него шла погрузка казачьего эскадрона и новобранцев. О провожающих и говорить не приходилось. Они пришли всей станицей. Как ни говори, отправляли кормильцев – самых здоровых, молодых и не на какие-нибудь лагерные сборы, а на войну.

Провожал в этот день сына Назара и старый казак Денис Иванович Чумаков. И ещё провожал он Василия – круглого сироту, сына покойного друга и ближайшего соседа Николая Кочета. Провожали, как положено, всей семьёй.

Жена Чумакова, Дарья Даниловна, дочери – Мария, Ольга и невестка Дуняша, перебивая друг друга, напутствовали

Назара.

– Будь осторожен, сыночек, не горячись, старайся обойти огонь и воду, – шептала Дарья Даниловна горячо любимому сыну.

– Назарушка, пиши чаще, каждый день шли письма, – просила молодая жена.

– Назар, ты прежде колбаску домашнюю скушай, а окорок копчёный опосля, – советовала старшая сестра Мария.

– А я тебе положила в дорогу пирог с капустой и курочку, гляди, чтоб не испортилась, коли сами не съедите, поделитесь с другими, – предупреждала Ольга.

Только Денис Иванович молча поглядывал на сына, часто потягивая самокрутку.

Василий Кочет, отойдя в сторонку со своей Анкой, что-то нашёптывал ей. Анка, смущённо опустив глаза, слушала его. Когда раздалась громкая команда начальника эшелона – «по вагонам!», Василий обнял Анку, поцеловал в губы и быстро побежал к семье Чумаковых. Сперва он протянул руку Денису Ивановичу. Старый казак, стараясь сдержать дрожь в руках, привычным движением руки пригладил усы, потом просто, по-мужски, пожал руку Василия:

– Ну, Василий Николаевич, в добрый час!

Затем Вася быстро попрощался с Марией, Ольгой и Дуняшей. Только Дарья Даниловна по-матерински прижала его к груди и, перекрестив, сказала:

– Храни Господь!

Тем временем Назар метнулся к Анне. Простившись с женой товарища, Назар поспешил к своим, а Василий, пробиваясь сквозь тесную, шумно суетящуюся толпу, устремился к вагону.

Валом отхлынул народ от перрона и прижался к вагонам. Одна Анна не двинулась с места. Юная, худенькая, в лёгком сером пальтишке, в вязаном платочке, смотрела она растерянно вслед Василию. На бледных губах её застыла застенчивая улыбка, в больших светло-голубых глазах затаилась тревога.

Когда Василий, поднявшись в вагон, встал у открытых дверей позади таких же бритоголовых, как сам, парней и посмотрел на неё долгим, пристальным взглядом, губы Анки дрогнули и, казалось, улыбку вот-вот исказит гримаса плача. Но Анка удержала слёзы.

Пришли в этот день на полустанок и станичники, которым некого было провожать. Держась в стороне, они с любопытством глазели на лица отъезжающих и провожающих.

– Тю, непутёвая! Ты глянь, Настенька, на Анку, стоит лыбиться, – прошептала дородная молодка, толкнув локтем в бок стоявшую рядом бледнолицую женщину.

– Ой, Аришка, ты бы полегче, с ног сшибёшь, – буркнула Настенька, недовольно взглянув на мясистое лицо молодки. Потом перевела взгляд на Анку и с грустью протянула: – А чего ей горевать? Ни детей, ни плетей, ни клята, ни мята, одно слово, что замужем была...

Но до Аришки не доходили слова Настеньки. Повернув большую голову, закутанную в толстый клетчатый плед, она устремила свой взгляд в ту сторону, где среди толпы, теснившейся у вагона, стояли Чумаковы. Хотя в разноголосом громком гомоне и криках, заглушаемых звонкими звуками гармошки, трудно было что-то расслышать, однако по выражению лиц можно было определить душевное состояние людей.

Не застонал Денис Иванович стоном сражённого медведя, когда также, как Василию, пожал руку сына. Нашёл он в себе силу, подавившую желание обнять Назара. Не баба ведь – бывалый казак. И хорошо, что люди не способны видеть, как пудовой гирей легла на его сердце тяжесть, как острая боль лезвием полоснула по чреву, когда Назар кротким, ребяческим взглядом посмотрел ему в глаза. И хорошо, что левое веко его, не подчиняясь крепкой мужской воле, задёргалось лишь после того, как Назар повернулся к матери.

Дарья Даниловна, повиснув на шее сына, громко запричитала под плач невестки и дочерей, которые, отталкивая одна другую, старались удержать в объятиях тянущегося к вагону Назара.

У дверей пультмана образовалась давка. Те из новобранцев, которые успели забраться в вагон, тянули за руки оставших. Василий так же пытался вырвать Назара из объятий родни, голосившей словно на похоронах.

– Ну будя! – строго воскликнул Денис Иванович, беря Да-

рю Даниловну за локоть. Старуха оторвала руки от шеи сына и беспомощно склонилась на плечо мужа. Отпустили брата и Марья с Ольгой. Только Дуняша не выпускала из цепких рук полу венгерки Назара, повисшего на дверях вагона.

Вместе с другими бабами потянулись они за тронувшимся эшелонем. Поезд ускорял ход, а женщины не отставали. С душераздирающими воплями тянули они руки, словно хотели остановить убегающий состав.

– Сынку-у-у! Батя! Братеня-а-а! Ой, боже мой! Ой, лишенько! – слышался душераздирающий крик женщин. Хмурились лица выглядывавших из вагонов. Иные, в особенности молодые новобранцы, отворачивались, чтобы боль расставания не выдавила скудные мужские слёзы.

Поезд убыстрял ход. Некоторые из бежавших следом отстали и тут же, словно подкошенные, падали на землю, продолжая вопить и протягивая вслед уходящему поезду руки. Вот промелькнул последний вагон, в котором обеспокоенно топтались и ржали казацкие кони. Отстав от эшелона, упала на землю и Дуня. Глазами, полными слёз, глядела она вслед скрывающемуся за поворотом составу. Многие из баб, извергнув из груди вместе с отчаянными криками ужас, охвативший их от сознания, что расстаются навсегда, тихо поплелись к полустанку, опустошённые и убитые горем.

Неторопливо расходились толпы по ухабистому бездорожью во все стороны от полустанка. Первыми его покинули те из женщин, которые пришли проводить односельчан ра-

ди приличия. Только Денис Иванович, Дарья Даниловна да Анка продолжали стоять на месте, понутив головы. Старик ждал возвращения дочерей, побегов за невесткой. Они с трудом подняли бьющуюся о землю Дуняшу и, взяв её под руки, поволокли обратно.

– Ну, ну, годи, дочка, поперёк воли Господней не станешь, казнить себя загодя не надо, Бог даст, вернётся наш Назар, – сказал Денис Иванович, глянув на невестку.

– Да услышит Владыка Небесный слова твои!

– Да уберёжет сынов наших, – запричитала снова Дарья Даниловна, роняя слёзы.

– Ну будет и тебе, жинка! Айда до дому, – сказал Денис Иванович, поворачивая к селу.

Ольга и Марья, оставив невестку, подхватили под руки мать и повели за отцом.

Дуняшка, увидев стоящую в сторонке Анку, подошла к ней и сказала:

– Идём, теперь не выстоим, не дождёмся.

Анка, словно выведенная из полузабытья, вздрогнула и, повернув улыбающееся лицо, посмотрела на Дуняшу.

– А ты хоть бы хны, ну и характер непонятливый, на всё одним лицом глядишь, – заметила Дуняша, идя рядом.

– Да что ты, подружка, неужели думаешь, что я и вправду каменная, может, внутри себя не меньше твоего горюю, да снаружи не показываю. Говорится же, что чужую душу не узнаешь.

– Может быть, оно и так, но на людях надо было хоть слезинку выпустить, да и Василию приятнее было бы расставаться, – продолжила Дуня.

– Зачем для виду слезу пускать? Я ведь не на клубной сцене, не в трагедию играю, – возразила Анка.

– Ну и отличаться от всего миру нехорошо в такие годы, – буркнула Дуняша.

Зябко ёжился хмурый день поздней осени. Серое небо скупое сеяло влажную пыльцу Холмистые дали и зубчатая гряда Северо-Западных высот были окутаны густой кисеёй тумана.

Медленно передвигал отяжелевшие ноги седоусый, широкоплечий, приземистый Денис Иванович. Устало шёл он с непокрытой головой, сжимая в руке старую мерлушковую папаху. Тяжкие думы, словно грозовые тучи, клубились в его голове. Думал повидавший виды казак о превратностях судеб народа и о семье своей, когда-то шумной, теперь распавшейся, и о грозящей старости. Один за другим покинули тленный мир родители и родичи. Поумирали сёстры и братья. Одна радость была – дети. Но вот вышли замуж обе дочери и отделились, словно отрезанные ломти. Вроде бы неплохо жили своими семьями, да вот война и их обездолила. Забрали мужей на фронт, но всё равно живут они сами по себе. А вот Назарку-меньшого жалко. Надежда и гордость отца, продолжатель рода Чумаковых, разумный и хозяйственный парень.

– Эх, проклятая война!

Кто-кто, а уж сам Денис Иванович знал, что это такое. И потому в глубине души очень переживал, когда узнал о том, что Назар и Василий вместе с другими казаками станицы подали заявление в военкомат с просьбой отправить их на фронт – на защиту Родины – в первый же день войны.

– Вы что это, хлопцы, поперёд батьки в пекло лезете? Подождали бы, пока усы пробьются, – строго сказал он Назару и Василию.

– Мужчины не ждут, когда Отечество в опасности, – ответил Василий.

– Ничего, батя, не шуми зря, пушок над губой давно пробился, а пока доберёмся до германца – ошестинимся, как волкодавы, – пошутил Назар.

– Рано вам. Ещё в былые времена таких, как вы, не только в конницу, но даже в инфантерию не допускали, разве только водоносами или помощниками кашевара.

– Ну что ты, папа, за кого нас принимаешь? А ну давай! – Назар упёрся локтем о стол, приготовив ладони для отражения силы руки отца. Денис Иванович сел напротив и в свою очередь поставил локоть рядом с локтем сына. Сначала старик поддался, наклонил руку немного набок, но потом, осторожно идя наперегиб, положил руку сына плашмя на стол.

– Да, ещё силен старик! – восторженно воскликнул Василий.

– А ты как думал, халам, балам... В этом кулаке есть кое-

что, – потрясая кистью, смеялся казак, а потом сказал серьёзно: – Так вот, хлопцы, знайте, что в таком опасном деле, как война, нужны знания, опыт, сила и сноровка, но иногда и это не спасает самых отважных, потому что пуля – дура.

Молодым казакам, Назару и Василию, да и некоторым другим добровольцам райвоенкомат отказал в просьбе по причине несовершеннолетия.

Денис Иванович остался доволен, в душе хвалил ребят. Добрые хлопцы, настоящие казаки получатся из них. Надо сказать, что и сам Денис Иванович почти одновременно с ребятами подал заявление, прямо на имя военного комиссара, в котором написал: «Я, бывший сотник, Денис Иванович Чумаков, отличившийся в Русско-японскую, награждённый Георгиевским крестом в Первую германскую, прошу зачислить меня в кавалерию и отправить в действующую армию для защиты Отечества».

Заявление старого казака было принято и одобрено. Но медицинская комиссия не признала его годным к строевой службе по годам и увечьям, следы которых остались на руке и ноге.

– Ну и доктора пошли, ни черта не понимают, – возмущался Денис Иванович и всё повторял: – Годы, что годы? Иной смолоду запаршивит так, что и в мирной жизни ни на что не годится, а другой – в шестьдесят гоголем гарцует. А седины для ядрёного мужика – что белый накал для булата. На мою покалеченную руку кивала медицина, а я им говорю

– не помеха рука, я этой рукой сразу после войны империалистической и Гражданской пахать да косить начал в колхозном хозяйстве и управлялся не хуже других. И сейчас половчее молодых, клинком и берданкой владею. Да разве им докажешь... Они смотрят только на букву закона, а не на человека, – ворчал старик.

– Вот видите, батя, и нам несправедливо отказали, зря отказали, – подзадоривали Назар и Василий расходившегося Дениса Ивановича.

– Куда вам? Вы сопливые ещё, – гневно обрывал Денис Иванович неугомонных ребят, которых считал мальчишками и жалел по-отцовски.

Но вот с тех пор прошло почти полгода. По восемнадцати исполнилось Назарке и Васюте. И вот они мобилизованы, едут навстречу неизвестности. Но, конечно, сразу в бой их не бросят, подучат малость, а там что Бог даст.

Тяжко вздыхал Денис Иванович. И без того пасмурный день казался померкшим.

Забыл старый казак о том, как сам, когда был в таком возрасте, как Назар, в начале японской войны в девятьсот пятом году без ведома родителей уехал к дядьке на Кубань, а там увязался за дивизионом казаков, отправляемых на фронт. Не раз ему пришлось понюхать порох самурайского образца. Со штыковой раной уполз он от твердынь павшего Порт-Артура. В германскую в четырнадцатом с пулевой раной в груди вытащили его из окопа под Брестом. И в девятнадцатом

в Гражданскую крепко посекали клинком денкинские «добровольцы». Однако жив остался, видимо, не суждена была смерть на поле брани...

Да и война была тогда не то что теперешняя. Вильгельм, прежде чем пойти на Русь, объявил, что идёт войной, а Гитлер вроде бы договор заключал, заверил в добронамерении и вдруг по-воровски, как разбойник, среди тёмной ночи напал. И вот берут чохом города и сёла наши, того и гляди и до этих мест доберутся. Неужели Россия настолько ослабла, что не найдёт в себе силы, способной противостоять врагу. И неужели Назар, Василий и все те хлопцы-новобранцы и хорошие казаки полягут, не устояв перед железной лавиной фашистов?

Подобные думы тяготили душу старого казака не только теперь – после проводов ребят на фронт, а с самых первых дней войны. И казалось ему, что гнетущая тревога навечно поселилась в его душе. Одним он был доволен, что успел до мобилизации женить и Назара, и Василия. А ведь ребята и не помышляли о женитьбе. Хорошо, что надоумил.

Жизнь в станице – не то что в городе. Здесь каждый на виду как на ладони. Ничто не скроется от глаз людских. Потому само собою получается, что надзор за молодёжью устанавливается постоянный.

Пока парни и девки гуляют, как говорится, гуртом, на них мало обращают внимание, а если начинают пароваться да уединяться, тут начинается суд и пересуд – одобрение или

осуждение старших.

Когда Дарья Даниловна и Денис Иванович узнали о том, что Назар стал обхаживать Дуняшу, дочь зажиточной вдовы, а Василий – Анку, такую же, как сам, сироту, препятствовать не стали. Дарья Даниловна и не думала о женитьбе юношей, а Денис Иванович, как узнал, сразу заявил:

– Значит, будем женить хлопцев.

– Да ты что, в своём уме? – воскликнула старуха.

– А что особенного? – ответил старик.

– Так ведь малы ещё хлопцы.

– Хорошенькое дело малы... Не сегодня завтра в солдаты заберут, как мужчин-воинов, взрослыми посчитают, а ты говоришь, малы, – возразил Денис Иванович и напомнил жене: – А сколько тебе было годков, когда прижималась ко мне за гумном в ночь под Ивана Купалу. Помнишь, как, перепрыгивая через костёр, ты подпалила юбку, а я погасил её и увлёл тебя в темень.

– Ох, Денис, и памятный же ты, усё помнишь, – засмушалась Дарья Даниловна, но всё же уточнила факт: – Целоваться-то ты начал первым...

– Не будем, жинка, спорить, не об нас речь, о сынках наших.

– Да кто же их регистрирует прежде времени, теперь ведь всё по закону. Это не то что раньше. В церкви венчали по одному виду, не уточняя годков, – стала рассуждать Дарья Даниловна.

– Оно-то верно, но и эти новые законы, как говорится, что дышло, куда повернут, там и вышло. А любовь, ежели она настоящая, никаких законов не признаёт. В таких случаях, чтоб оградить от греха, лучше благословить на семейный союз. Знаешь, жинка, уж коли познали хлопцы сладость поцелуя, пусть вкусят и греховный хмель любви до конца. А то заберут их да бросят в проклятое пекло побоища, и вспомнить хлопчикам будет нечего в часы отбоя или привала. Окромя того, законные жинки понадёжнее в ожидании, чем девки-казнобы.

– Но ведь не регистрируют их, а венчаться парни не захотят, потому что комсомольцы, – повторила старуха.

– Да ты, жинка, не беспокойся, я пробью это дело, потому как положение военное, особое, значит, и причину выставлю уважительную.

– Какую причину? – поинтересовалась Дарья Даниловна.

– Ну, скажем, насчёт Василия такую, что одинок он, не на кого бросить двор и хозяйство, всё может прахом пойти без хозяйки. А что касается нашего Назара, то тоже уважить должны, потому как я не годен к строевой, немощный, значит, и ты старая, уход требуется за нами. А сын единственный. Так и заявлю: ежели мобилизуете, кто будет присматривать за нами? Значит, и в нашем хозяйстве нужна молодая рука и присмотр.

– Ну что ж, вроде бы и верно. Воля твоя, Денис, ты голова над семьёй, как порешишь, нехай так и будет, – согласи-

лась Дарья Даниловна. Потом, помолчав немного, посмотрела с умилением на своего повелителя и добавила: – Ох, Денисушка, и справи ты хорошо придумал, поженить хлопцев, нехай поживут по-семейному, пока призовут, а там, ежели Бог даст, закончится война, да воротятся до дому Назар и Василий, а им жёнки первеньких поднесут на радость.

Морось постепенно превратилась в мелкий дождь. Денис Иванович ускорил шаг, за ним поспешили и остальные. Когда семья Чумаковых, свернув за угол, пошла по своей улице, до слуха вдруг донеслось одинокое завывание, скорее похожее на голос волчицы, тоскующей в ночи.

Денис Иванович остановился, прислушался.

– Где-то стряслась беда, кажется, в нашей стороне, – сказал он и поспешил в ту сторону.

Через некоторое время встревоженная семья Чумаковых увидела людей, бегущих к дому Настеньки.

Новый дом, поставленный перед самым началом войны на противоположной стороне улицы, прямо перед отличавшейся добротностью хатой Чумаковых, тоже был замечен издали.

– Что же могло случиться? Ведь Настенька с Аришкой были на станции, – прошептала Дарья Даниловна.

– А вчера она получила письмо с фронта от Степана. Сама Настенька сказывала, – добавила Дуняша.

– Письмо могло прийти вчера, а похоронка – сегодня, – упавшим голосом произнёс Денис Иванович.

– Тьфу, тьфу! Упаси Господи! Не говорил бы вслух такое, – недовольно глянув на мужа, сказала Дарья Даниловна.

– Эх, жинка, жинка, да я такого врагу не пожелаю, а оттого, что не скажу вслух, тоже не утаится несчастье, ежели оно случилось.

Анка с Дуняшей и Марья с Ольгой, оставив позади стариков, побежали к дому Понамарёвых. Калитка дома была распахнута. Во дворе и хате толпились встревоженные бабы. Вбежав, Анка и Дуняша увидели Настеньку с обезумевшими от ужаса глазами на бескровном лице. Оглядывая входивших, она издала душераздирающий крик и запричитала:

– Ой, Степанушка ты мой родненький, да на кого же ты покинул меня и малых дочушек. Видно, ты в лиху годину начал ставить хату новую!

Да кто же позарился на счастье моё? Да муженёк ты мой ненаглядный! Да хозяин ты наш неустанный! Где же ты сложил свою головушку? Кто прикрыл твои глазоньки? Кто омыл тебя слезами горькими? И за что я так Богом наказана? За какие грехи мукам предана? Люди добрые, что же делать мне? Ой, ой, ой, страшна беда, бабоньки!

Выкрикивая эти слова, Настенька начала рвать распущенные волосы, царапать лицо своё до крови и, всплеснув руками, словно надломленными крыльями, с силой ударила по бёдрам своим.

Женщины поочерёдно подходили к ней, рыдая, обнимали несчастную и отходили, уступая место другим. Когда На-



– Невиноватая я, это дяденька почтальон принёс, дал мне и сказал – отдай мамке, а сам убёг.

Анка подошла к Маняше, глянула на стандартный листик и прочла роковое слово: «Извещение».

– Невиноватая я, – повторяла девочка, поглядывая то на бумажку, то на мать, то на окружающих, которые не обращали на неё никакого внимания.

Плакали все. Одни тихо, с содроганием в сердце, думая, что и им не избежать подобной участи. Другие громко, вспоминая своих, сложивших головы ранее. По сочувствию и доброте душевной плакали и те, кому не грозила утрата, у кого не было мобилизованных. Лишь одна Ариша сидела нахохлившись, как беркут, и из-под нахмуренных чёрных, широких бровей поглядывала на происходящее, отчуждённо, холодно.

Довга Ариша – так нарекли Арину Гусакову досужие станичные выдумщики за высоченный рост. С годами Аришка раздалась и вширь, а стало быть, и силой физической обладала недюжинной. И потому любящие поострить старые казаки стали величать её Аришкой Поддубной, помня известного и прославленного силищей русского богатыря Ивана Поддубного. Аришка не серчала, напротив, принимала шутки всерьёз и относила их на счёт собственных достоинств, не сомневаясь в своём превосходстве над остальными во всех отношениях, даже умственном, хотя последним качеством она была немного обойдена Богом. И ещё с «амурными» делами

у неё ничего не получалось смолоду. Не сватались к ней женихи. Да и удивляться не приходилось. Кто мог в те времена предвоенные, нелёгкие рискнуть на такой семейный союз? И потому, не смягчённая жаркими мужскими ласками, не сдобренная нежным чувством материнства, окончательно огрубела внешне и очерствела душой довга Ариша.

Мать её, Степанида Пантелеевна, как всякая мать, не замечала недостатки детища, лишь только сокрушённо качала головой и, тяжело вздыхая, говорила кумушкам:

– Не ко времени породила я на свет свою Аринушку. В добрые старые времена, когда женщин выбирали не сынки, а умные родители, моя Аринушка не имела бы отбоя от сватов. Тогда настоящие хозяева-хлеборобы знали цену такой девки. А теперь чёрт-те что делается у тех колхозах. Усе люди хозяева, а толку чёрт ма, некуда приложить силу такой дивчины. Усё делают машинами. Запустят тот трактор на поля и гойдают, пользы людям никакой, а земле сильные руки нужны...

– Та она ж у тебя не дюже охочая робыть, – подмечали приятельницы, и тогда Степанида Пантелеевна без возражений умолкала.

...Удручённая своим горем, чужой бедой, усталая и голодная, вошла Анка в свою опустевшую хату и, скинув пальто, бросилась на кровать. Уткнувшись лицом в подушку, она дала волю слезам. То навзрыд плакала, да так, что сотрясались плечи от стеснения в груди, то, повернувшись на спину, гло-

тая воздух широко открытым ртом, как задыхающаяся рыба, застывала, уставившись в темень потолка. Неудержимые тёплые слёзы продолжали струиться из глаз.

Вечерний мрак комнаты давил на неё невесомой гнетущей тяжестью. Анка почувствовала озноб, привстала, вытащила из-под себя одеяло, укрылась. Но легче от этого не стало. Лихорадочная дрожь, начиная с пальцев рук, подкрадывалась к спине и тысячами мурашек сбегала вниз до самых ступней. Отшвырнув одеяло, она вскочила с постели и долго шарила руками по припечку, ища спички.

Потом вспомнила, что положила их на шибер, потянулась к нему, не удержалась и чуть не упала. Соскользнувшей рукой столкнула черепичный горшок с закваской. Он упал и больно ушиб ногу. Анка присела, потёрла ушибленную стопу и снова зарыдала, опустив голову на согнутые колени. Когда опять стало трести от холода, она поднялась, взяла спичечную коробку, разожгла печь, в которой были заготовлены использованные клочки бумаги, мелкие щепки для розжига и дровишки. Когда вспыхнувшее пламя осветило комнату, Анка завесила окна маскировочными занавесками из чёрной бязи, зажгла лампу и села на табурет спиной к открытой духовке. На душе полегчало. В её памяти стали возникать образы давно умерших отца, матери, боль утраты которых как никогда остро она ощутила теперь в полном одиночестве.

Потом она представила себе едущих в поезде Василия и Назара. Всё-таки им среди таких же, как они, гораздо лег-

че в эти минуты, чем ей, подумала Анка. Куда их везут, что ждёт впереди – там, где лютует смерть? От одной мысли, что поезд, в котором едет её Василий, могут разбомбить вражеские самолёты или, брошенный на передовую, он погибнет в схватке, ей опять стало не по себе. Она поднялась, выпила воды, походила по комнате, подбросила дров в печь и снова села возле духовки. Грустные думы увлекли её в ту сторону, к тому вагону, в котором ехал Василий. Что он теперь делает? Думает ли о ней или уснул на твёрдом тряском полу пульмана? Напишет ли с дороги? А ведь обещал писать каждый день. Теперь она будет, как и другие солдатки, ждать весточки, дарящие бабам минутную радость. Интересно, о чём он будет писать? Ну, конечно же, прежде всего о том, что любит, скучает, обучается воинскому делу, припишет приветы Чумаковым. Тут её мысли перенесли на соседей.

Денис Иванович – всё же добрый казак и душевный человек. А для Василия был не хуже отца родного. И Назар для Василия что брат кровный. Родились в один год, росли вместе, в школу пошли в один класс, окончили семилетку, опять же вдвоём стали работать в колхозе помощниками тракториста. А в последние полгода, когда трактористов мобилизовали на фронт, сами стали управлять машинами.

Тринадцати лет остался Василий без отца и матери, без братьев и сестёр, один-одинёшенек. Что бы он делал, если бы не Чумаковы?

Недаром же говорят, что лучше иметь хорошего соседа,

чем плохих родственников вдалеке. Не на словах, а на деле заменили ему Чумаковы отца и мать. Это они – Денис Иванович и Дарья Даниловна надумали женить Василия, а заодно и своего Назара. И хорошо сделали. Как ни говори, а к женатым отношение не такое, как к холостякам. Все – Анка, Василий, Назар и Дуняша – были одного года, только девчата моложе на несколько месяцев.

Родители Назара жили зажиточно. Денис Иванович мужик работающий и мастер на все руки. И дом выстроил сам, даже плотников со стороны не нанимал. Мебель и ту сделал собственными руками, да такую добротную и красивую, что лучшие столяры приходили полюбоваться. Хата Кочетов была обыкновенной саманной мазанкой под соломенной крышей, которая досталась Николаю Кочету от родителей. Сам Николай Кочет смолоду рос болезненным, зарабатывал мало, так что семья в три человека едва сводила концы с концами. За четыре с лишним года до начала войны муж, а затем и жена Кочета покинули этот свет, оставив подростка Василия на попечение добрых соседей.

Анка тоже росла сиротой. Родителей она потеряла в раннем детстве. Воспитывалась у одинокой тётки по матери, в нужде и бедности. Дуняша росла по-другому. Жила она побогаче, хоть и без отца, но с родной матерью, которая умела скупать ходовые товары и выгодно продавать. Да и покойный отец Дуняши тоже был человек мастеровой – жестянщик, отдавший Богу душу за несколько лет до начала войны, кое-

что оставил своей жене и дочери.

Кругленькая, румяная, весёлая и говорливая, любившая попеть и поплясать, Дуняша верховодила на вечеринках. Она сама охмурила тихого, застенчивого красавчика Назара и стала уводить до соловья! Станичные девчата говорили, что Василий – балагур и весельчак – больше подходит Дуняше. А он почему-то выбрал именно её – Анку, пугливую и одетую хуже Дуняши и других девчонок. Потому, видимо, что сам Василь, хлебнув сиротской доли, жалел её, безродную, и полюбил за то, что чаровать она могла не хуже других – своей статностью, белым личиком и русой косой. Дружба гуртовая вскоре была оставлена. Друзья и подружки стали ходить по вечерам вчетвером, а затем начали отделяться попарно. В станицах такое поведение считают серьёзным и торопятся перевести на законные основания.

Вспомнила Анка и тот жаркий августовский воскресный день, когда Чумаковы прислали сватов с белыми рушниками через плечо. Анкина тётушка была заранее предупреждена. И потому она, как положено для желанных гостей, зажарила петуха с курицей – традиционное блюдо.

Тётка и сама причепурилась, и принарядила Анку, приготовила новенькие рушники с кружевами и вышитыми красными нитками петухами по краям. Когда вошли сваты, тётушка, помнившая старые обряды, вышла навстречу и поклонилась в пояс. Потом откинула голову, сложила руки на груди и, словно невиданным пришельцам, задала вопросы:

– Откудова вы родом будете? К какому племени относитесь? Из какого царства-государства явились?

– Мы из царства малоросского, разудалые охотники, заметили кунью каменную, к вам пришли по следу свежему, – сказал, выступив вперёд, один из сватов.

– За куницу ту серебром ли дать, сто вершков холста или золото? – спросил второй сват.

– Нам не надобно злата красного, серебра и холста не требуем. Отдадим мы вам нашу голубку за бесценное слово доброе, – ответила тётушка и пригласила посланцев жениховых в комнату. Здесь сваты и тётка обменялись рушниками, поднесёнными со стороны невесты. Рушниками сваты перевязались через плечо и уселись за стол. Это значило, что сватовство состоялось. В противном случае родители невесты должны были вынести сватам, вошедшим во двор, кавун или тыкву. Когда гости принялись за еду, тётушка моргнула Анке, сидевшей в углу с подружками. Это означало, что Анка должна запеть грустную песню с причитаниями по умершим отцу и матери. Слова этой старообрядческой песни тётушка заставила выучить Анку заранее. Но Анка, несмотря на моргания и кивки тётушки, застеснялась. Тогда тётка запела сама:

Ни в уме было, ни в разуме,  
В помышлении того не было,  
Что дивчине да замуж идти.

В сельсовете поначалу произошла загвоздка, не хотели молодых регистрировать по причине несовершеннолетия. Но Денису Ивановичу в конце концов удалось уговорить председателя, убедить в необходимости женитьбы, в особенности Василия.

Свадьбу решили сыграть одну на двоих парней, потому что не на что было её устраивать Василию, а вместе с Назаром задарма выходило. Свадьба та имела одно только название. Не до веселья было людям. А ежели оно у кого и было, прорывалось наружу, то тут же, спохватившись, гасили смех, стараясь не показать радость тем, на кого постоянно давил гнёт войны.

В просторном дворе Чумаковых расставили столы и скамьи. На свадебное торжество пришли только старые друзья и близкие знакомые хозяина и хозяйки да девчата. Мужчин же среднего возраста и парней в станице почти не осталось. Многие пожилые люди под бременем лет и недугов ещё до войны перестали предаваться веселью, а молодым было не до гулянок, и сидели они словно не на свадебном пиру, а на тризне. Не прийти – значит обидеть почтенного казака – Чумакова и жинку его Дарью Даниловну.

Не решалась развернуться и молодёжь, видно, действовали на них постные лица взрослых, в особенности баб-солдаток, которые больше вздыхали, помалкивая, и, наверное, думали о тех, кто ушёл на фронт, пригвоздив жёнок к своим сердцам. Потому не похожа была эта свадьба, надуманная

старым Чумаковым, на былые шумные пиры, справлявшие-ся обычно осенью после сбора урожая, со столами, ломив-шимися от еды и напитков. Всё изменило тревожное время. Хотя и не из бедных были Чумаковы, но похвалиться сва-дебными пирогами да яствами не могли. . .

С первых дней войны не стало продуктов в сельпо. А на базаре цены поднялись так, что не подступиться. Вот и при-шлось Денису Ивановичу и Дарье Даниловне класть на стол лепёшки да хлебец, испечённый из пшеничного размола по-полам с кукурузной мукой. Хоть и забродило, поднялось те-сто, но хлеб получился тяжёлый, как кирпич из самана. Го-рилки казённой было немного, зато чачи самогонной. . . Каж-дый мог пить от пуза. Украшением стола были жареные по-росята и куры. Знали хозяева, что не взыщут гости и за то, что вместо конфет фабричных поставили на стол тутовник сушёный да виноград. Только для старушек, любительниц побаловаться чайком свежим, поставила Дарья Даниловна мелко наколотый сахар.

Может, невесело было на свадьбе и оттого, что музыки путёвой не было. Позабирали на фронт станичных гармони-стов-весельчаков, приглашать со стороны тоже было некого. Вот и пришлось позвать старого баяниста Петровича, непри-годного к строевой ещё со времён Первой мировой. К тому же Петрович был слаб на оба уха. Толк с него был небольшой не только из-за глухоты, но и заскорузлости пальцев, кото-рые едва шевелились. Если бы пробежал Петрович перстами

по пуговкам трёхрядки, как бывало в молодости, да заиграл плясовую, может, и нашлись бы среди парубков и молодух такие, кто, пройдясь по кругу, поразмял бы кости, а потом дробной россыпью деревянных каблучков восхитил бы сидящих. Но, к великому сожалению признанных станичных плясунов, Петрович с трудом, часто сбиваясь, выводил мотивы, забытые «с времён Очаковских и покоренья Крыма». Видимо, пасмурно было на душе бывшего старого есаула-баниста оттого, что два сына его, которым было уже под пятьдесят, ушли на фронт. Потому, наверное, он затянул скрипучим, как несмазанная арба, старческим голосом очень грустную украинскую песню:

У каждого в свите е сонце свое,  
Любезно живётся, як сонечное.  
Зи мною рассталась дружина моя,  
Остався на свити без соньчка я.  
Як сонце немає, той житы шкода,  
Без сонца на свити усе пропада!

Любил Денис Иванович песенное наследие предков, в особенности если исполняли его мастерски. А музыка деда Петровича начинала раздражать его, да и гости, не зная слов, заскучали. И потому хозяин поднялся и, положив руку на плечо музыканту, сказал:

– А ну, старина, може, зыграешь краше: «Ой, на гори той жницы жнут», – а мы заспиваемо.

Не сразу расслышал Петрович слова Дениса Ивановича. Разинув рот, музыкант глянул на него, потом, приложив ладонь к уху, чуть склонил голову Денис Иванович наклонился к нему и повторил просьбу.

Видимо, Петрович когда-то хорошо играл эту мелодию. Его тугие, но подвижные пальцы забегали быстрее, увереннее. Только на мгновение прервал он игру, чтобы подтянуть сползший с плеча ремень баяна, а затем круто развернул меха. И полились протяжные звуки старинной, незабываемой казачьей походной песни. Сначала её подхватили грубые, хрипловатые мужские голоса, а затем к ним присоединились звонкие, чистые женские. Исполняемая хором, с нарастающим накалом и задором полилась песнь, пробуждая в молодых сердцах безудержную удаль, а в душе седоусых лёгкую грусть и тоску по утраченной молодости.

И прежде не раз приходилось Анне слышать слова этой песни, но тогда она не придавала значения им и даже не старалась запомнить. А в этот необыкновенный в её жизни день – день свадьбы – Анка почему-то повторила в уме несколько раз фразу «Шо променяв жинку на тютюн да люльку» и придумалась над этими словами.

А в песне той пелось:

Ой, на гори той жницы жнуть,  
А по-над горою яром, долиною казаки идуть.  
Попереду Дорошенко  
Виде своё вийско,

Вийско запоризьке, хорошенько.  
Гей, долиною,  
Гей, широкою...  
А позаду – Сагайдачний,  
Що променяв жинку на тютюн  
Та люльку, необачний.  
Гей, долиною,  
Гей, широкою...  
«Мини з жинкою не водиться,  
А тютюн та люлька  
Казаку в дорози знадобиться».

В тот вечер после свадьбы, оставшись наедине с Василием, Анка спросила:

– Скажи, как это мог Сагайдачный променять жинку на трубку и табак?

– А кто его знает, может, так только в песне поётся, – ответил Василий.

– Нет, так запросто о чём попало в песне не поётся, значит, случилось такое, что песнь сложили про это.

– Может быть, и случилось, – согласился Василий.

Помолчав с минуту, Анка снова задала вопрос:

– А ты, Вася, променял бы меня на что-нибудь?

– Да ты что, с ума сошла, зачем это я тебя вдруг менять стану!

– Ну, скажем, на хорошего коня? – не унималась Анка.

– Даже за целый табун не отдам, на весь мир не проме-

няю. – Василий притянул её к себе и прижал так сильно, что Анка запищала.

– Любишь, значит, любишь? – спрашивала она.

– Люблю!

– За что?

– За глазки твои, похожие на небо. Когда ты, Анка, надеваешь серый платок, они становятся серыми, когда накинешь голубой, они становятся голубыми, а коли облачишься в синее, то и они становятся синими.

– А может, и я тож изменчива, – пошутила Анка.

– Нет, только глаза твои переменчивы, – поправил Василий.

Незаметно, словно радостный сон, пролетели эти дни. И вот она снова одна. Горькое чувство стеснило грудь.

Анка встала, погасила лампу, откинула от окна занавеску и снова легла. Поднявшийся ветер зашкочил во дворе, шурша листвой. Иногда он врывается в печную трубу и, глухо взыв, уносится. Анка перевела задумчивый взгляд с потолка на небольшие оконца. Однообразная небесная темень заметно посветлела. От последней тёмной тучи, тянувшейся к северу, остался длинный шлейф, видневшийся в правом углу окна. Из-за белых клочьев облаков выглянула луна. На остальном тёмно-синем полотнище неба мелкой россыпью золотых искр светились звёзды. Бледный свет луны слегка осветил комнату. Полоски света выбивались из щелей дверцы догоравшей печи. Эти полоски тянулись к дру-

гой стене, на которой за тонкой ситцевой занавеской висела старая одежда Василия. Анка невольно глянула на занавеску, и ей показалось, что она шевелится. Анка закрыла глаза, потом снова открыла и опять заметила движение за занавеской. Не отдавая себе отчёта, она встала с постели, смело подбежала к ней и быстрым движением руки ощупала висящую за занавеской одежду.

Никого. Тишина. И тут ею овладел суеверный страх. Наверное, теперь около полуночи, подумала Анка и вспомнила прочитанные недавно повести Гоголя «Вий», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь, или Утопленница». Ей стало жутко. Подойдя к кровати, она улеглась и укрылась с головой. До её напряжённого слуха стали доноситься таинственные, тихие шорохи, и казалось ей, что к ней протягиваются десятки рук нечистой силы и стягивают одеяло с головы. Анка с детства боялась темноты и одиночества потому, что наслушалась рассказов о леших, домовых, чертях и ведьмах, которые в полночь выходят из своих укрытий на шабаш.

С учащённо стучащим от страха сердцем, дрожащими руками она приподнялась, сбросила одеяло и уселась на кровати, прижавшись спиной к стене. Говорят, у страха глаза велики. Наверное, потому ей и показалось, что какие-то лёгкие тени промелькнули и исчезли в тёмных углах комнаты. Анка стала вспоминать слова молитвы «Отче наш», которую часто повторяла её тётушка:

– Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твоё! Да

придет царствие Твоё! Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле!

Забыв остальные слова, Анка несколько раз повторила последние строки и закончила:

– И не вводи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Однако испуг не прошёл. Тогда Анка решила встать, зажечь лампу, а потом передумала. Быстро оделась и вышла во двор. Ночь дохнула на неё свежестью и бодрящим холодком. Через некоторое время она стала ощущать сырость и зябко поёжилась. Возвращаться в комнату не хотелось, но и остаться во дворе было невозможно. Анка глянула на тёмные окна дома Чумаковых и почему-то решила, что Дуняша тоже не спит.

«Пойду посижу с ней», – сказала она себе.

Сбежала со ступенек, перепрыгнула через склонившийся до земли плетень, подбежала к окошку Дуняшиной комнаты и тихонько постучала. Никто не отозвался. Тогда Анка забарабанила громче.

– Кто там? – послышался женский голос из-за окна.

– Это я, Анка. Отвори дверь.

Дуняша приподняла штору, прильнула лицом к стеклу и сонным голосом спросила:

– Чего тебе?

– Да отчини, пусти в хату, – раздражённо сказала Анка.

Опустив штору, Дуняша подошла к двери, откинула крючок и, открыв её, снова задала вопрос:

– Что случилось?

– Ничего не случилось, просто не спится мне, страхи одолевают, думы тяготят, – ответила шёпотом Анка. – А ты что, спала? – спросила она.

– Что делать-то ночью? За день намоталась так, что ноги под собой не чувствовала, – сладко зевнув, произнесла Дуняша.

– А я-то думала, что и тебя сон не будет брать в эту ночь, потому пришла, решила вместе повздыхать...

– Чего вздыхать зря? Зачем всё к сердцу тулить? Этим ведь горю не поможешь, – сказала Дуняша. Анка молчала. Подвинувшись к стене, Дуняша предложила: – Лягай рядом да поспи, завтра ведь на работу.

Озябшая Анка влезла под одеяло, прижимаясь к подруге. Потом, вздохнув, шёпотом заговорила:

– Ой, Дуняшка, изведёт меня кручина, изойду тоской в одиночестве. Терзает душу страх с того часа, как рассталась с Василём. Всё думаю, что станется с ними. Не достанется ли и нам такая доля, что Настеньке?

– Не казнить же теперь себя, не влезть загодя в могилу, да и воинам не всем быть убиенными. Уймись ты, усни, – сказала Дуняша и повернулась лицом к стене.

Анка умолкла. Сначала ей было приятно от ощущения тепла и сознания, что рядом лежит живой человек, и ей перестало быть страшно. Но когда Анка услышала мерное посапывание предавшейся безмятежному сну подружки, ей ста-

ло не по себе.

– Надо же уметь вот так сразу уснуть... – шептала она про себя и вспомнила вдруг, как Дуняша цеплялась за полы венгерки Назара с душераздирающим криком, а потом побежала вслед за уходящим поездом, как, выбившись из сил, упала на землю, не переставая рыдать, как приволокли её, взяв под руки, золовки, и вдруг на тебе – богатырский сон с присвистом... Вот и скоротала с подружкой бессонную ночь. Видно, Дуняшка крепкая и чувственность её больше наружная, подумала Анка. Поворочалась она с боку на бок, повздыхала и поняла, что сон подружки не приятнее страха одиночества. Не выдержала Анка, встала с кровати, коснулась плеча спящей: – Дуняша, проснись, ухожу я, проводи меня да закрой двери.

Дуняша издала звук, походящий на мычание, потом приподняла голову и сонно спросила:

– Чего тебе?

– Домой ухожу, встань, запри дверь, – повторила Анка.

– И носит же тебя лихоманка туды-сюды, – недовольно проворчала Дуняша, поднимаясь с постели.

– Не моя вина в том, что кружит лихоманка, – с грустью произнесла Анка, прикрывая за собой дверь.

Стоя на крытом крылечке Чумаковых, Анка огляделась вокруг. Небо успело очиститься от облаков. Лунная, светлая ночь хранила сонный покой станицы. Ничто не нарушало тишины, даже лай собак нигде не было слышно. Анка медлен-

но сошла по ступенькам во двор, перешагнула через плетень. Не узнав хозяйку, Свирко предостерегающе зарычал, высунив голову из конуры.

– Дурачок, не узнал спросонья, – ласково сказала Анка.

Пёс гавкнул, звеня ржавой цепью, вылез из конуры и заскулил виновато, растянувшись у ног хозяйки.

– Бедняжка, ты, наверное, голоден, – сказала Анка, погладив собаку.

Потом она вошла в хату и вернулась с алюминиевой миской, в которой была недоеденная пшённая каша. Выложив содержимое миски в старую посудину из которой ел Свирко, Анка постояла, наблюдая, с какой жадностью и поспешностью глотал пёс кашу. Когда посудина опустела, Анка присела на корточки и отцепила цепь от ошейника. Свирко вскочил на лапы и, взвизгнув от радости, в одно мгновение перескочив через забор, очутился на улице. Анка подошла к калитке, отперла её, вышла на пустынную улицу. Свирко с бешеной быстротой носился вверх и вниз по улице. Одни соседские собаки, почувствовав нарушителя покоя, выскочили на улицу, другие подняли лай из подворотен. А когда убедились, что ночной «моцион» совершает «свойак», успокоившись, вернулись во дворы.

– Свирко, домой! – крикнула Анка через некоторое время. Пёс послушался. – Иди в хату, – позвала она, входя в дом. Свирко вошёл, обнюхал все углы и растянулся у печи.

Анка закрыла дверь и, ложась в постель, сказала:

– Вот так, наверное, лучше.

Наступила зима. Убелённая снегом станица казалась погружённой в глубокую дремоту. Даже днём на просторных улицах было безлюдно. Редкие проезжие или прохожие оставляли неглубокий след на белой глади, который тут же заметала лёгкая пороша. Ребятишки, так любившие покататься на санках, поиграть в снежки, и те приутихли, приуныли около взрослых.

Вглядываясь в неровный строй домиков, нахохлившихся под белыми пышными шапками, на ленивые, голубые струйки, поднимающиеся над печными трубами, на синие дали полей и гор, не верилось, что где-то севернее, не так уж далеко от этих мест лютовал ураган войны. И грозные вести каждодневно, от рассвета до полуночи доносились по радио в эти места.

Доносились вместе со сдержанной радостью небольших побед, с безысходным горем потерь, поражений и тяжёлых утрат.

Потому в каждой хате поселилась тихая грусть, убаюканная тоскливым завыванием ветра и ленивым снегопадом.

Долгие зимние вечера Дуняша проводила у Анки. Обычно, не зажигая лампы, усаживались они у открытой дверцы горячей печки, задумчиво глядя на красные угли, искрившееся пламя сухих поленьев, вели мирные беседы.

Румяная, подвижная, говорливая и весёлая Дуняша за последние месяцы заметно поблекла, осунулась и притихла. Со

свёкром Денисом Ивановичем и свекровью Дарьей Данилов-ной она не то чтобы не ладила, а просто относилась с холо-дом. Обращаясь к ним, не звала их ни отцом, ни матерью, ни даже по имени. Даже с Анкой в разговоре о родителях мужа Дуня называла их «старый», «старая». Старики как-то пожаловались на это Анке.

– Дуняша, зачем же ты так непочтительна к родителям Назара? Люди они вроде бы неплохие, – заметила Анка.

– А я разве жалуюсь?

– Не жалуешься, но и не привечаешь. Они ведь тебя не обижают, не перечат ни в чём, живёшь как хочешь и делаешь что хочешь...

– Одно слово, что живу. Чужие они мне, душа к ним не лежит, не прижилась я к их дому. Чувствую себя как на по-стоялом дворе, в особенности после отъезда Назара.

– Всё это из-за тоски сердечной по нему. И то сказать, не успели мы с тобой заморить червячка любви своей. Оттого и тоска томительнее, и боль разлуки острее. Ни ты с Назаром, ни я с Васютой даже разок повздорить не успели. Всё целовались да миловались, укрывшись от глаз, – с улыбкой заметила Анка.

– Что верно, то верно, вот только причина не вся в этом, – задумчиво проговорила Дуняша.

– В чём же ещё? – спросила Анка.

– А в том, что забеременела я, – раздражённо бросила Ду-няша.

– Боже мой! Да это же хорошо! Пока вернётся Назарка, у тебя сыночек или дочка появится.

– На что мне ребёнок в такое время! Ещё неизвестно, что станет с нами, вернётся Назар или нет. Вон немцы уже половину России захватили, и до нас не так уж далеко осталось, а я буду с пузом или дитём на руках мыкаться. Ни жена, ни вдова...

– Дура! Типун тебе на язык! Мелешь, сама не зная что! Не допустят фашистов до нас! – возмущённо выпалила Анка.

– Это кто же их не допустит? – с ехидной ухмылкой спросила Дуня.

– Наши мужья да наша армия!

– А почему же всё это время допускали? Ты разве не слушаешь радио? Не поодиночке, а чохом сдают города и сёла.

Анка как-то сразу сникла от этих слов. Раздражение на её лице сменилось печалью. Она вобрала голову в плечи, поёжилась, словно её облили холодной водой, потом после некоторого молчания тихо заговорила:

– Нет, Дуняша, не дойдут немцы до нас, мы должны победить. Ты знаешь, не верится. Почему-то запали в мою душу слова бабки Глаши Сизовой. И я поверила им. Говорят, бабка Глаша девичество в монастыре провела. И всё из-за любви. Дюже любила красавца казака Миколу Вихря. Потому как был он статный, видный и лихой. Его в царский конвой зачислили. Бабка Глаша в молодости бедно жила. Не захотели её взять в жёны сыну зажиточные родители Миколы.

Другую, богатую сосватали. А Глаша отравилась, но не до смерти, а потом в монастырь ушла. Только к старости и вернулась в родную станицу.

– А куда девался Микола Вихрь? – перебив подругу, спросила Дуня.

– В Сибирь его сослали вместе с родителями-кулаками. Но говорят, что он уже старым перед войной приезжал сюда, разыскивал Глашу.

– Ну и что дальше?

– Да ничего, попили чайку, вспомнили молодость и расстались. А после рассказывала бабка Глаша, что Микола трижды женился, а она осталась верной любви до старости.

– О чём же ещё рассказывала тебе бабка Глаша?

– Да, я и забыла, отвлеклась. Не рассказывала, а вещала, уверяла в том, что сама в Библии читала, что, мол, написано в Священном Писании о том, что разразится на земле страшная бойня, каких ещё не бывало на свете. И растеряют родители детей своих, а жёны мужей, братьев и отцов. – Анка замолчала, перевела дух. – Не останется в городах камня на камне, и сёла будут преданы мечу и огню. Затянется та война на годы, но в конце концов победит Красный петух. Вот так дословно сказала бабка Глаша.

– И ты веришь её брехне? – спросила Дуняша.

– Может быть, не всю правду сказывала бабка, но в то, что победит Красный петух, я поверила, потому что красные – мы, наша армия.

– Не знаю, Анка, а я почему-то сумлеваюсь, и мамка моя сумлевается, потому и советует избавиться от живота.

– Да ты что, с ума сошла? Карают ведь за это. По закону тебе не сделают аборт, потому как ты девка здоровая, а подпольно кто возьмётся? Кто захочет в тюрьму? Всякое ведь случается, а вдруг неладное произойдёт?

– Ну и пусть случится, лучше умереть, чем жить со связанными руками.

– Боже мой! Да неужели одно дитё руки твои свяжет? Мать у тебя ещё в силе, свёкры здоровы, неужто одного ребёнка не выгодуете?

– Если ты, Анка, хочешь – рожай себе на здоровье, а мне ребёнок не нужен, не хочу сирот разводить, на безотцовщину глядеть.

– Да будет тебе каркать! Ты что же это Назарку хоронишь, постыдилась бы!

– Чего стесняться, Назар не к теще на гулянье поехал...

– Дуня, Дуня, недоброе ты надумала, или не жаль?

– Кого?

– Дитя родного.

– Да оно же ещё не успело превратиться в дитя. Не я первая, не я последняя...

– А если узнают да заявят?

– Кто заявит, повитуха сама на себя не заявит. Мать родная тоже, а если ты... Так заявляй!

– За меня, подруга, будь спокойна, не заявлю, но только

я бы не стала делать аборт, оставила бы, хотя бы на радость свёкрам, если не вернётся Назар.

– Ну и оставляй своё, если тебе хочется радоваться.

– Оставила бы, да не получилось у меня. Даже если, не дай бог, что случится с Васильком, всё равно оставила бы, как память о любви к нему.

– Память, говоришь... Вот ты осталась сиротой, как память о любви твоих родителей, а что, хорошо тебе жилось? – спросила Дуня.

– Не жаловалась, жила, как все живут, были печали и радости, а как повстречала Васюту, счастье познала, на то и жизнь даётся.

– Ну не знаю, ты жила и живи как хочешь, я тебе не советчик, а я по-своему буду жить.

Так впервые повздорили и разошлись подружки. Через несколько дней Дарья Даниловна пришла к Анке и сообщила о том, что Дуняша ушла к матери, сказав, что поживёт у неё с недельку.

– Соскучилась, наверное, погостит и вернётся, – сказала Анка, догадываясь о причине ухода.

– А может, что-нибудь надумала, тебе ничего она не говорила? – спросила старуха, пытливо глядя в лицо Анке.

– Нет, тётя Даша, ничего не сказывала, не знаю, что она может надумать. – Говоря это, Анка отвела взор в сторону.

– Изменилась Дуня за последнее время. Попервах была ничего, а потом вроде бы подменили её, скрытничать стала,

не узнать её. Мы со стариком всяко стараемся потакать ей, а она всё больше чурается нас. Догляд елась я, что стала Дуня пищу перебирать, и говорю своему, может, понесла она от Назарки, характер, говорю, меняется у отяжелевшей бабы. Он, бедолага, обрадовался и говорит мне: не будем, мол, ни в чём перечить Дуняше, пусть принесёт нам унучку або унука, кого Бог пошлёт, всё одно кровь своя. Уж так порадовался Денис, так порадовался...

Чуть не до слёз растрогали Анку слова Дарьи Даниловны. Жаль ей стало стариков, мечтавших подержать в руках дитя от Назарки. Видя, что Анна смущённо молчит, старуха стала допытываться:

– Чует моё сердце, надумала что-то Дуняша. Не может быть, чтоб не поделилась с тобой. Ты бы, доченька, пошла к ней да разузнала. Я и сама бы сходила, да неловко как-то, скажут, пришла следом...

– Хорошо, тётя Даша, сегодня же пойду, допытаюсь, но мне кажется, зря вы беспокоитесь, напрасно догадки строите. Могла Дуняша измениться характером от тоски по Назару. Я вот тоже себя не узнаю, свет божий не радует, одно утешение – письма от Васюты, а если задержатся в пути – от дум и бессонницы по ночам вся изведусь. И день кажется не светлее ночи.

– Что и говорить, Аннушка, – коли вам, жёнам, так тяжело, а каково мне – матери? Потому и хочется приглушить боль душевную прикосновением к дитю малому Ничто не

радует старость людскую так, как дети и внуки, – говорила Дарья Даниловна, с грустью уставившись в одну точку.

В тот день на работу Дуняша не пошла. Ивановна – мать Дуняши – с утра пришла в правление колхоза, сообщила, что приболела дочь её. Анка догадалась, какая болезнь приключилась с подругой, и, несмотря на слово, данное Дарье Даниловне, не пошла проведать её. Не винила Анка подругу хотя бы потому, что трудно стало бабам с детьми. Одной картошкой кормили, и то не досыта, а о сахаре и манной крупе и говорить не приходилось. Исчезли они вместе с другими продуктами с первого дня войны и не появлялись ни в сельпо, ни в городских магазинах. Иные станичники последних коров отдали государству, потому что налог за них нечем было платить. Для фронта тоже всем жертвовали, потому что почти не было хат, из которых кто-нибудь да не ушёл на войну. Одна страшней другой были сводки Информбюро. Так что, думала Анка, где-то по-своему права Дуняша, говоря: «Не я первая, не я последняя».

Нелегко было Анке врать Дарье Даниловне, уверяя, что болезнь у невестки простудная. Старуха сделала вид, что поверила, а на другой день уговорила Анку пойти вдвоём повидаться с Дуняшей.

Больная чувствовала себя неплохо, только побледнела очень да помалкивала, в отличие от матери своей, которая не старалась скрыть хорошего настроения.

Только через неделю вернулась Дуняша к свекрови. Она

мягче стала обращаться со стариками, разговаривала больше. Однако не клеились уже их отношения. Помалкивали старые, отчасти и оттого, видимо, что не стало писем ни от Назара, ни от Василия. А раз писем нет – жди беду...

Подолгу, старательно отбивала земные поклоны Дарья Даниловна, стоя на коленях перед образами. Зажурился, часто окутывая себя махорочным дымом, и Денис Иванович. Склонив седую голову, вздыхал старый казак. Не выдержала Дуняша, собрала свои пожитки и снова ушла к матери. Ещё больше опечалились Чумаковы, но ничего поделать не могли.

– Ты, мать, не горюй, может, так лучше и для нас, и для неё. Дети, они как птенчата, как только оперятся, так и покидают родительские гнёзда, – хотел оправдать невестку старик, да неудачно вышло, потому как жена заметила:

– Да, в своём гнезде не уживаются, а в чужом и подавно. Пусть дожидается Назара у родительской хате, а если, Бог даст, вернётся, тогда нехай тут живут або отделяются от нас.

## 2

Тяжёлой была зима сорок первого, но ещё тяжелее выдалось лето тысяча девятьсот сорок второго. Гитлеровские полчища, словно гигантский осьминог, обескровив обширную территорию на Западе, протянули свои кровавые щупальца к югу России.

Врата Кавказа – Ростов после двукратного перехода из рук в руки не устоял. Разрушив батайскую дамбу, «новотевтонская орда» открыла путь из Европы в Азию. Мутным паводком хлынула смертоносная стихия, разлилась по раздольным степям Ставрополя и заклокотала под гранитными, зубчатыми стенами Северной гряды гор Кавказских. И начался штурм этой гигантской естественной крепости, воздвигнутой могучей рукой природы на рубеже двух миров.

Над глубокими рвами, высокими бастионами, валами и отвесными стенами грозной цитадели стали насмерть интернациональные полки защитников. В сторону этой неприступной твердыни бежали тысячи мирных жителей с оккупированных сёл и городов, которым грозила беспричинная месть расстрелов. Туда же уходили, уносили и увозили сотни больных и раненых из тыловых и эвакогоспиталей. Бежали старые и малые, здоровые и изувеченные, то есть все, кто не ждал пощады от тех, кому было предписано фюрером: «Уничтожь в себе жалость и сострадание, не останавливайся, если перед тобой окажутся дети, женщины, старики. Убей их, тем самым спасёшь себя от гибели и прославишься навеки».

Под натиском превосходящих сил противника с боями отходили к этому нерушиму укреплению потрёпанные в жарких сражениях, обессиленные в горячих схватках регулярные части – от Дона, Кубани, Ставрополя. Отступали партизанские отряды и ополченцы, чтобы занять новые рубежи на господствующих высотах, устроить заслоны в узких

ущельях на перевалах. Эти отступления и отходы продолжались месяцами и днём и ночью.

По железнодорожному пути, шоссе, просёлками, тропами и просто по бездорожью отходила наша армия.

Только тот, кто прошёл по этим тяжким путям отступлений, знает, как горько сознавать и как порой не верилось в то, что отступление это временное.

И вот фашисты на Кавказских Минеральных Водах. Здесь силы врага разделились на части. Первая двинулась на юг по железнодорожной линии. Вторая, через Пятигорск, по шоссе на дороге направилась в Кабардино-Балкарию. Танковая армия фельдмаршала Листа, прорвав оборону на реке Баксан, захватила город Нальчик. Отсюда открывался удобный, ближайший из путей в Северную Осетию и через её столицу Владикавказ – к Дарьяльскому ущелью, ведущему к цветущим долинам солнечной Грузии. Эта же дорога через Нальчик, образуя развилку на границе Осетии, вела через земли терские к богатствам Чечено-Ингушетии, нефти Грозного.

Далее древнейший путь продолжался через Каспийское побережье Дагестана к нефтяному Баку, откуда рукой подать к бывшей империи османов, неизменной союзнице Вильгельма в прошлом и Адольфа в настоящей войне.

Третья ветвь вражеских сил была брошена к горным перевалам – Клухорскому, Марухскому, Санчарскому и Аманазу, через которые пролегали кратчайшие пути по кру-

тым склонам, покрытым вечными снегами, к землям Грузии, Черноморскому побережью, Абхазии, батумской нефти и к Турции, но уже морским путём. К заоблачным высотам Северного Кавказа с неприступными вершинами и крутыми хребтами, вечно одетыми в льды и снега, были брошены специальные горнострелковые дивизии, укомплектованные отборными альпинистами-скалолазами – «летающими лыжниками», которые в течение многих лет специально обучались и тренировались в Альпах.

Некоторые бойцы и офицеры из личного состава этих горнострелковых дивизий с поэтичными названиями «Белая лилия», «Эдельвейс» – в прошлом известные в Германии спортсмены. Ещё до войны они не раз бывали по туристическим путёвкам в горах Северного Кавказа. Они знали не только основные дороги на перевалах, расчищенные и расширенные за годы советской власти, но и давно заброшенные, испорченные осыпями, ливнями и ветрами, все туры тропы, висящие над тёмными безднами, выющиеся по труднодоступным склонам и гранитным карнизам.

Эти вооружённые до зубов дивизии были хорошо оснащены, чтобы успешно вести боевые действия в условиях ледников, вплоть до индивидуальных электрических грелок. И вот надежда и гордость вермахта самоуверенно ринулась на штурм ледяных «бастионов». Подбадриваемые приказами бесноватого фюрера, отряды спешили пробиться к перевалам до наступления осенних холодов. И, перевалив южные

склоны Большого Кавказского хребта, стремительным броском достичь поставленной цели.

Отступление советских войск шло по тем же трём направлениям. С грустью смотрела Анка на бесконечные вереницы усталых, почерневших от солнца и пыли беженцев. Сворачивая с шоссе, они осаждали сёла и станицы в поисках воды, еды и ночлега.

По тем же дорогам гнали бесчисленные стада овец и крупного рогатого скота из колхозов, земли которых были оккупированы.

Эвакуировали раненых и больных из госпиталей, развёрнутых в курортных городах Кавказских Минеральных Вод. Легкораненые, те, кто мог самостоятельно передвигаться, шли за машинами. Тяжелораненых везли на грузовиках и на тряских подводах. В станицах они не задерживались. Женщины-казачки выходили к ним навстречу с горячими лепёшками, поили молоком, совали в руки варёную картошку, всматривались в исхудалые, бледные, небритые лица. Анка тоже, опережая других, спешила к медленнодвигающимся подводам и машинам, в которых стонали бойцы. Раненные в голову и лицо были перевязаны так, что ничего, кроме окровавленных бинтов, не было видно. С болью в сердце отходила от них Анка – страшнее этого, казалось, ничего уже быть не может. Когда людское движение останавливалось, с какой-нибудь подводы или машины снимали тело умершего и

тут же, у обочины, торопливо закапывали. Молча, словно не хоронили человека, а поспешно прятали нужную, дорогую вещь, за которой ещё вернутся. А потом в свежий холмик вбивали колышек с дощечкой, на которой тут же делали надпись – имя, отчество, фамилию и год рождения покойного.

– Трогайтесь! – раздавалась команда начальника.

– Трогайтесь! – передавали один другому по рядам – до тех пор, пока слово это не достигало конца колонны, и тогда движение начиналось вновь.

Неторопливо шуршали по пыльной дороге подошвы солдатских сапог и ботинок. Мерно поскрипывали колёса подвод, глухо урчали моторы полуторок. И тогда какая-нибудь станичная баба, опомнившись после потрясения, догнав человека в форме военно-медицинского работника, торопливо спрашивала:

– Звеняйте, пожалуйста, откуда покойничек? Царствие ему небесное...

– Не могу знать, надо смотреть историю его болезни...

– Жаль, а то сообщила б родителям или жёнке, где лежит их родимец.

– Был бы здешний, давно бы дал знать о себе – с Дона или с Кубани. Последние дни больше с тех фронтов прибывали раненные...

Когда замыкающие колонну уходили на значительное расстояние, женщины собирались у свежей могилки и какая-нибудь из них начинала голосить:



щался ни днём, ни ночью. Во многих хатах появились раненые, которым казаки оказывали посильную помощь и старались, используя любой транспорт, переправить их к местам, где курсировали санитарные машины.

Тревога и беспокойство вселились в каждый дом. Люди собирались группами и обсуждали сложившееся положение. Сельские руководители, партийный актив ещё до подхода замыкающих частей покинули станицу – знали, что от врага пощады не будет. С грустью провожая глазами отступающие войска, Денис Иванович сказал:

– Ну вот, и хвосты подтягиваются к новым позициям, за ними хлынут головные части врага. Германец на Кавказе – такого ещё не бывало, что ж теперь с нами будет?

– Дядя Денис, а може, нам лучше убежать отсюда, перебьют фрицы нас, – с тревогой в голосе спросила старого казака Анка.

– Куда бежать, дочка, разве не видишь, сколько миру бежало, куды их усех девать? И за море не перевезти, да где и чем накормить? Ведь люд бежал не только по одной нашей дороге, а по всем возможным путям. Нет, лучше сгинуть у своём дворе, в своей станице. Там, – старик кивнул на юг, – страна хоть и наша, но земля не своя. Чтобы не издохнуть с голоду да не околеть от холода на чужой стороне, длинные рубли нужны. А в нашем кармане вошь на аркане... Лучше помереть дома, ежели так суждено свыше...

– Страшно мне, дядька Денис, говорят, немцы баб моло-

дых и девчат в Германию угоняют, – тревожилась Анка.

– Бог не без милости, дочка. Авось не угонят, что им делать там с бабьём? Теперь германцу своих баб да девок девать некуда. Ихнего брата не меньше нашего побито, тот, кто идёт напролом на чужое, теряет больше... – И, помолчав немного, старый казак добавил: – Ты, дочка, не тревожься. Пока жив я, никого из вас в обиду не дам. У войны свои законы в отношении мирян.

– Ой, дядя Денис, да разве у разбойников бывают законы? – возразила Анка.

– Ежели у разбойников всё от зверя – не бывает, а если есть что-то от людей – может соблюсти и не по сознанию, а больше от страха перед возмездием. Среди них не все изверги. Помню немца ещё с Первой германской, даже якшался с ними, тогда это называли братанием.

– А как же вы якшались, дядя Денис, они ведь и тогда против России войной шли?

– Та война вначале была затеяна царями, германским и русским, а когда она в революцию перешла, решили остановить кровопролитие, потому как простым людям незачем враждовать промеж себя.

– А разве теперешние фрицы не из простых людей? – не отставала с вопросами Анка.

Старик задумался, потом ответил:

– Должно быть, из простых, но солдат есть солдат: что скажут, то он и делает, потому что есть воинская дисциплина, за

нарушение которой наказывают строго, вплоть до расстрела. Может, иной и не хочет, но вынужден делать то, что приказывают, иначе поплатится за неповиновение. А потом, видимо за эти годы, между народами лютая вражда пошла. Не по душе чужестранцам наша свобода и народовластие. Ещё до революции пытались изничтожить наши новые порядки, а теперешние немцы, видимо, злее прежних.

Анка слушала не перебивая.

– Бывало, сидим в окопах – они на своей позиции, мы на своей, популяем друг в друга, пересидим до вечера, а там и отбой. Совсем другая была та война, – продолжал вспоминать Денис Иванович. – Царь отрёкся от престола. Тогда мы, казаки, не кумекали в делах государственных. Те, разные временные, что в правительство влезли, дрались за престол, а у нас на позициях вроде бы затишье. И тут появились агитаторы, которые стали разъяснять солдатам, кто такие большевики, меньшевики, что такое власть Советов. О Ленине мы и раньше слышали, мол, он за народную власть хлопочет, землю хочет отобрать у помещиков и крестьянам передать. Стало ясно, кому и зачем нужна война, хотя нам и без того надоело воевать, а тут совсем расхотелось...

И на той стороне, среди германцев, видно, поработали агитаторы, потому как немчура пулять стала в небо, а не в нас.

Более того, после отбоя выходим из окопов и вроде бы в гости друг к другу идём, руки пожимаем, махоркой или та-

бачком угощаемся, смеёмся, словно друзья повстречались. А понять один другого на словах не можем, больше на пальцах объясняемся.

Смотрю я, бывало, на того немца и думаю, вот ведь вроде бы человек как человек, смеётся, по плечу хлопает, и ничего плохого мы друг другу не сделали, а враги...

Какие же, думаю, мы враги? Отчего враждуем? Из-за чего смертно бьёмся? Страшное зло учиняем семьям, горе несём женщинам, сиротство – детям. Потому и началось дезертирство. Большинство в Красную армию переметнулось, народную власть утверждать. Надо сказать, что царь их, Вильгельм, как подобает государю, зачиная войну, объявление императору Николаю сделал: мол, готовьтесь, иду на вас войною. А теперешний Гитлер, истинный разбойник, не зря ведь говорят: «Какой вождь – такое племя»...

Когда Денис Иванович смолк, Анка поднялась со скамьи.

– Ты куда? – спросила её Дарья Даниловна.

– Пойду к себе.

– Чего одной дома делать в такое время? – прервав раздумья, спросил Денис Иванович.

– Дело б нашлось, да ни на что руки не ложатся, – с печалью в голосе сказала Анка, направляясь к двери.

Душный день последнего летнего месяца был изнуряющим. Хотя солнце и стало ниже клониться к закату, жара не спадала. Какая-то странная, гнетущая тишина царила вокруг. Жизнь в станице казалась вымершей – на улице ни ду-

ши. Нарушая покой и тишину, в соседских дворах нет-нет да и закудахтают куры, тоскливо завоют собаки – словно беду предчувствуют.

Анка постояла у калитки, прошлась по двору, затем вошла в хату. В приземистой, выросшей давно в землю хате было прохладно и темно, потому что окна остались завешенными с прошлого вечера. Анка отхлебнула несколько глотков молока из горшка и снова вышла во двор.

Вынесла кастрюлю борща для Свирко. Почувяв запах съестного, пёс радостно завилял хвостом, поднимаясь из-под тенистой акации. Анка вылила остатки борща в посудину возле конуры, поставила кастрюлю на порожек и снова выглянула на улицу. Там так же было безлюдно и тихо. Анка вновь захотела зайти к Чумаковым, но передумала и направилась к сеновалу, где под навесом стояла лестница. Она потащила её к хате, приставила к стене и ловко забралась на соломенную крышу. Встав во весь рост, держась одной рукой за печную трубу, посмотрела в сторону, куда ушли последние части наших войск. Там в синем мареве мирно дремали выжженные зноем холмы и виднелась бесконечная горная гряда. Анка повернулась к северу где так же безмятежно покоились степные просторы, холмы и курганы.

Вдруг до неё долетел монотонный гул моторов. Она подняла голову посмотрела на безоблачное небо и вначале ничего не увидела. Однако гул нарастал, становился яснее, ближе. Вглядевшись пристальнее в бескрайнюю лазурь неба, она

заметила насколько светлых точек, они двигались к юго-востоку.

– Самолёты, – тихо произнесла Анка и подумала: свои или чужие? Наверное, вражеские стервятники...

Анка наблюдала за движением далёких точек до тех пор, пока они не исчезли за горизонтом. Потом она вновь обратила внимание на север и вздрогнула... Там из-за высокого кургана, лязгая гусеницами, выползали четыре чудовища-бронетранспортёра.

– Немцы! – невольно вскрикнула Анка, впившись взглядом в чёрную свастику на белых кругах.

Броневики двигались по направлению к Моздоку. Поравнявшись с первыми станичными хатами, одна из машин круто развернулась и встала, обратившись лобовой частью к домам.

– Ой, боже! – воскликнула Анка испуганно и растянулась на крыше, держась рукой за трубу. Она думала, что с бронетранспортёра начнут стрелять по ней, но выстрелов не последовало. Осторожно приподнявшись на цыпочки, выглянула из-за трубы. Машина словно выжидала чего-то, но вскоре развернулась в обратную сторону и двинулась за остальными. – Слава Тебе, Господи! – прошептала высохшими губами Анка, успокаиваясь, но испуг снова охватил её. Со стороны кургана вновь донёсся шум моторов. Анка приложила руку козырьком ко лбу и стала вглядываться в серую массу, быстро движущуюся по шоссейной дороге. Из-за кургана

снова выехали три бронемашины и направились напрямёхонько в станицу.

– Немецкие мотоциклисты! Да как много их... Господи, пронеси мимо! – зашептала Анка, с замиранием сердца вглядываясь в грозную силу, несущуюся как ураган. Чем ближе надвигалась эта неудержимая масса, тем сильнее билось Анкино сердце.

Из сообщений газет и радио она знала о зверствах, чинимых фашистами. Услышав приближающийся шум, многие из станичников стали выглядывать в окна. Иные, которые посмелее, так же, как Анка, забрались на крыши домов. Нашлись и те, кто спустил собак с цепей. Заслышав шум, собаки громко залаяли и стали метаться вокруг домов. У придорожной окраины бронемашины остановились, направив дула орудий на станицу. Затем подъехали мотоциклисты с овчарками в колясках. Немцы не сразу вошли в центр села. Некоторое время держались в стороне, суетились, громко переговаривались. К головным частям постепенно присоединялись основные силы. И когда солнце стало опускаться за высокую гряду, их было уже столько, что и не сосчитать. Наконец группа автоматчиков направилась к домам. По их смелым действиям было видно, что им ничто не грозит. Переводчики стали обращаться к казакам:

– Партизаны или солдаты есть?

– Никого нет, все ушли, – отвечали опечаленные люди.

И тем не менее оккупанты стали обыскивать дома, потом

собрали всех жителей на станичной площади.

Когда люди собрались у здания стансовета, из группы оккупантов вышел вперёд переводчик и сказал:

– Русские граждане и господа! Представители оккупационных войск великой Германии считают своим долгом предупредить вас о том, что миролюбивое отношение к вам с нашей стороны сохранится до тех пор, пока вы безоговорочно станете исполнять наши требования. Это в основном будут незначительные просьбы с нашей стороны. Кого уличат в связи с партизанами или оказании сопротивления любому солдату или офицеру, расстреляют на месте.

Сделав грозное предупреждение, переводчик смягчил тон и уже спокойно продолжил:

– А теперь, в помощь нашим временным представителям власти на местах и для соблюдения порядка, надо избрать старосту с вашего согласия. Человек, выдвигающийся для исполнения этих обязанностей, должен быть надёжным помощником нам. Лучше, чтобы это был представитель из бывших состоятельных казаков, обиженных властью Советов. Кроме того, он должен быть человеком лояльным по отношению к Германии, почётным и уважаемым среди односельчан. Если кто-либо добровольно пожелает пойти в услужение к нам – просим подойти и назвать себя.

Переводчик умолк в ожидании. Его взгляд скользил по лицам старых казаков, которые стояли в первых рядах, опустив непокрытые головы. Видя, что добровольцев, желаю-

щих идти в услужение к ним, не находится, немец, откашлявшись, сказал:

– Ну что ж, может быть, желающие не осмеливаются на такой шаг по причине скромности. Тогда прошу вас назвать имя человека, которого вы бы желали избрать старостой.

Говоря так, переводчик поглядывал на кряжистого, ещё крепкого на вид Дениса Ивановича. Старый казак, боясь, что кто-нибудь назовёт его имя, смело взглянув в глаза переводчика, сказал:

– Есть у нас такой, из зажиточных казаков, в Добровольческой армии Деникина служил. Правда, не совсем добровольно пошёл на службу к белым, его силком мобилизовали. Игнатом Фёдоровичем кличут. Казак уважаемый, вот только того малость... – Денис Иванович выразительно щёлкнул себя по горлу. – Словом, закладывать любит, ну да мы все не без греха.

Лёгкий шум пронёсся по толпе.

– Да, да, в самый раз подойдёт дед Игнат, – выкрикнул кто-то из толпы.

Игнат Фёдорович Прохоров – горький пьяница, действительно, в девятнадцатом году был мобилизован деникинцами в конницу и несколько месяцев до разгрома Белой армии находился в её рядах. Высокий, худощавый, в прошлом отличный наездник, он, в общем-то, был человек добродушный, очень любил лошадей. Свою короткую службу в рядах беляков считал «тяжким крестом Голгофы», который нёс по-

том на своём плече всю жизнь. Именно этим он объяснил своё горестное приобщение к культу Бахуса, во власти которого предавал забвению свою «пропащую жизнь».

Когда дед Игнат услышал своё имя, предлагаемое на должность старосты, он не на шутку испугался. Робко выступив вперёд, заговорил:

– Да што ж вы это, люди добрые? Разве я сгожусь для такого сурьёзного дела?

– Господин Прохоров, а почему бы вам и не согласиться, коли этого желают ваши соплеменники? – обратился к деду Игнату переводчик.

– Хворый я, господин начальник. Сверху вроде бы ничего, а внутри испортился малость, не сгожусь.

– Да что ты, дед Игнат, да ты у нас джигит настоящий, сто вёрст на коне без седла отмахать сможешь, – выкрикнула одна из вдов-казачек.

– Вот видите, господин Прохоров, и представители от мужчин, и представители от женщин желают именно вас, – не отступал от старого казака переводчик.

Дед Игнат помолчал с минуту, а потом, повернув голову к стоящему рядом Чумакову, выпалил:

– Эх, Денис Иванович, зря грех на душу берёшь...

– Нет, Игнат Фёдорович, не зря, ты себе цены не знаешь. Да ты благодарить должен за доверие народа, – ответил Чумаков.

– Итак, казаки и господа, – продолжил переводчик, – с

сего часа господин Прохоров Игнат Фёдорович вступает в исполнение обязанностей вашего старосты, так что прошу любить и жаловать!

Так дед Игнат стал старостой.

В тот же день Игната принарядили в чью-то старую иностранную форму, вооружили для острастки испорченным «кольтом» и тут же включили в работу. На первых порах новоиспечённому старосте была поручена роль помощника квартирмейстера. Поскольку близился вечер, старосте было велено представить список самых добротных домов в станице и отвести туда на постой командующий и начальствующий состав немецкой части. Дед Игнат вначале взялся за поручение нехотя, но потом вошёл во вкус, в особенности после того, как хлебнул «хмельного зелья заграничного изделия», как он сам шутил, стал даже повышать голос на некоторых хозяев. К новенькому, светлому дому Настеньки Понамарёвой отвёл трёх немецких офицеров. Постучав в калитку, крикнул:

– Хозяйка, отворяй, принимай гостей!

Настенька долго не отзывалась. Калитка была заперта.

Тогда староста постучал сильнее. Наконец, не выдержав, женщина распахнула калитку и, держа обе руки за спиной, встала, загородив собой вход.

– Ты что, оглохла, что ли? – спросил староста.

– А ты, несчастный пьянчуга, спятил? Кого привёл? Мало того, что они убили моего Степана, так теперь и в дом его

привёл немцев. Убирайся с ними ко всем чертям или я порешу их сама!

– Дурная ты баба, Настя, уйди от греха подальше.

– Не уйду! Не пущу их! Они мои кровные враги! И ты, предатель, убирайся с ними к такой-то матери!

Немецкие офицеры по грозному виду лица и дерзким ноткам в голосе поняли, что она отказывается подчиняться старосте.

Дед Игнат в нерешительности развёл руками, повернулся к немцам. Один из них, сделав несколько шагов вперёд, одним ударом ноги распахнул ворота.

Настенька с криком «Изверги!» подняла топор, который прятала за спиной, и ринулась на наглеца. Офицер едва успел отскочить и тут же, выхватив из кармана пистолет, всадил несколько пуль в грудь, в живот Настеньки.

Люди, успевшие прибежать из соседних дворов, застыли в ужасе. Настенька какое-то мгновение продолжала стоять с лицом, искажённым от гнева, держа высоко над головой тяжёлый топор. Но силы стали покидать её. Пальцы ослабли, тяжёлый топор накренился, рукоять выскользнула из рук. Словно подкошенная, она медленно опускалась на землю, не веря ещё, что приближается конец её недолгой жизни, обвела настороженным взглядом толпу. Побледневшие губы дрогнули, хотела что-то сказать, но кровь хлынула изо рта. Настенька, стиснув зубы, упала навзничь и, сделав несколько судорожных движений, вытянулась во весь рост поперёк

входа. В её позе был немой крик: «Пройдёте только через мой труп!»

Фашисты не осмелились перешагнуть через убитую, стояли не шелохнувшись. Не только они, убийцы, но и весь народ, ахнув, застыл, поражённый. Из открытых дверей хаты, быстро передвигая ручонками и ножками, на четвереньках выползла младшая, полуторагодовалая дочь Настеньки. Увидев толпу, девочка со смеющимися глазёнками ещё быстрее подползла к мёртвой матери и, сунув руки ей за пазуху, стала теревить грудь и пролепетала жалостливо: «Мама, дай сию!»

Тут Денис Иванович не выдержал. Отделившись от толпы, смело шагнул к мёртвой, осторожно отнял ручонки, вцепившиеся в её грудь, и поднял девочку на руки. Девочка громко заплакала. Протягивая обе ручки к мёртвой матери, она пыталась вырваться из крепких рук деда Дениса, выкрикивая: «Мама! Мама!» Старый казак понёс ребёнка к себе домой. Убийца круто повернулся, держа в руке оружие и бросая косые предостерегающие взгляды на людей, направился вверх по улице. За ним последовали двое других и староста дед Игнат. А вслед неслось:

– Будь вы трижды прокляты! Антихристы! Людоеды, зверьё!

– Чтоб вы также захлебнулись собственной кровью! Чтоб и вашу грудь изрешетила карающая пуля!

– Чтоб ваши очи на земле нашей вороны выклевали! Чтоб

ваши кости волки да шакалы изгрызли!

Женщины слали проклятия вслед уходящим и, рыдая, подняли мёртвую на руки и внесли в хату. Гудящая толпа казаков теснилась в дверях, у ворот, на улице. Люди сбегались со всех концов станицы.

– А где же Маняша и Ксюша? – спросила Анка, входя в дом Понамарёвых.

– Не знаем, не видели... И в хате нет, может, ушли куда...

Анка обежала соседей, обошла все дворы, огороды. Девочек нигде не было. И она снова вернулась в дом Настеньки, стала шарить по всем углам.

– Горе-то какое – пропали дети! – Анка всплеснула руками.

– Никуда не денутся, найдутся, – строго посмотрев на соседку, сказала довга Аришка, которая, в отличие от других казачек, не плакала, не причитала, несмотря на то что была ближайшей соседкой Настеньки. Анка не успокоилась. Осмотрев погреб, курятник, снова вернулась в комнату и, случайно заглянув под железную кровать, заплакала. Там, забившись в тёмный угол, испуганная как зверёк, сидела старшая дочь Настеньки – шестилетняя Маняша. Вторая – трёхлетняя Ксюша, склонив голову на её плечо, спала. Анка с трудом вытащила перепуганную до смерти Маняшу, которая заикалась, не в силах сказать и слова. Страшная трагедия разыгралась у неё на глазах. Наверно, она и затолкала сестрёнку под кровать, а та уползла во двор. Анка взяла на

руки Ксюшу, а Маняшу, продолжавшую дрожать, словно её била лихорадка, повела за руку в дом к Денису Ивановичу, – так он велел.

Жутко голосили бабы над убитой Настенькой. На другой день понесли хоронить. Несли на руках сами женщины, до самого кладбища. Не подпустили к покойной казаков. Так хоронили в России почтенных покойниц, оставшихся до конца дней верными мужьям, погибшим на фронте.

В опустевшем доме убитой решила похозяйничать довга Ариша. Она собрала вещи в узел и хотела было его унести. Но Анка остановила её:

– Ты кому это, Аришка, несёшь?

– Соби, – ответила старая дева.

– А ну вертайся, да положи на место!

– А ты что тут, за хозяйку осталась?

– Не за хозяйку, а за сторожа, чтоб такие, как ты, не растащили сиротские вещи. Клади узел та садись, понятой будешь. После похорон люди придут, опишут всё при свидетелях и запрут, пока дети подрастут, понятно? Так велел дед Денис.

Беспокойно спала Анка в ту ночь. Снились ей кошмарные сны. Она вздрагивала во сне и часто просыпалась. Ещё не занималась заря, а только белая полоска рассвета показалась на горизонте, как услышала она шум моторов. Глянула в окно и сквозь предутренний сумрак увидела вражеских мото-

циклистов, которые, как шумная стая хищников, мчались в сторону большой дороги.

– Слава богу, уносятся отсюда, – сказала самой себе Анка. Стоя в ситцевой ночной рубашке, она почувствовала прохладу, поёжилась и снова нырнула в неостывшую постель. Но уснуть не смогла. Перед её глазами возникла страшная картина расправы над Настенькой.

Убит муж... Остались трое детей... Настенька и Степан были такими же сиротами, как и она с Басилём. Теперь их детей забрал Денис Иванович, что он с ними будет делать? Почему не отдал мне старшенькую? Сказал, мол, не надо их разлучать. Может, и в самом деле не стоит разлучать сироток. Младшая, глупая, ещё ничего не понимает, а Маната уже соображает, жмётся к старикам, плачет украдкой. Ласковая Маняшка, не дай бог, зайкой останется на всю жизнь. И надо же было такой беде случиться.

Гордой, непокорной была Настенька.

«Если бы не дети малые, пошла бы на фронт, мстить за мужа», – не раз говорила она, и глаза её загорались каким-то страшным гневом, – вспоминала Анка.

«Проклятые! Растаракхтелись! Летят куда-то, саранча окаянная. А ведь на самом деле фашисты наши кровники. «Канглы», – вспомнила Анка татарское слово. Именно так их и назвала Настенька, когда вышла с топором в руках, чтобы преградить им путь в свою хату...

Уже совсем рассвело. Надо встать, помочь Дарье Данилов-

не. Одной ей не управиться с тремя детьми, не молодая ведь.

Анка быстро оделась, прибрала кровать и вышла во двор. Глянув в сторону соседского дома, увидела входящую в сарай Дарью Даниловну Анка хотела направиться к ней, но передумала. Подойдя к плетню, глянула на улицу, никого не увидела, а шум, который разбудил её, доносился откуда-то издалека. И куда этих дьяволов чёрт понёс!

Вернулась Анка во двор, подошла к лестнице, которая так и стояла с вечера приставленной к стене, поднялась на крышу. Окинула взглядом дорогу, которая вилась в стороне от широкого лога, по склону которого раскинулись станичные хаты. Пожухлая листва деревьев на рассвете казалась посвежевшей. Померкшие далёкие звёзды и луна, похожая на погасший выщербленный плафон, ещё не покинули посветлевшего неба. Со стороны горной гряды, подёрнутой лёгкой голубой дымкой, веяло прохладой. С выжженных солнцем степей и камышовых плавней Терека тянуло влагой, доносились запахи пряных трав – чабреца и горькой полыни, люцерны. Но этот знакомый с детства степной аромат перекрывал запах гари.

Анка увидела в золотом ореоле восходящих лучей солнца огненные шары и причудливые петли, которые тут же гасли, превращаясь в чёрные дымовые облака. С той же стороны доносился грохот орудий и, подобный глухому стону, гул потрясал, казалось, всю вселенную. Шли бои под Моздоком и на подступах к Малгобеку. В том направлении и мчались

МОТОЦИКЛИСТЫ.

Всего лишь до полудня пребывала в состоянии относительного покоя станица, оставленная врагами. А когда солнце достигло зенита, гнетущая тревога вновь вернулась в сердца станичников. И как было не беспокоиться, если со стороны Нальчикского шоссе вновь потянулась чёрная лента вражеских войск, с гулом моторов и грохотом. Это были колонны большегрузных машин. В одних, крытых брезентом, ехали солдаты, в других, под маскировочными накидками, были ящики, мешки, прочий груз. В середине колонны двигались лёгкие вездеходы, предназначенные для командующего и начальствующего состава, а позади – санитарные машины. И наконец, замыкали движение грузовики с автоматчиками. Колонну эту Бог не пронёс мимо, несмотря на желание и мольбы станичников.

Она тоже остановилась на окраине станицы. Лишь несколько головных машин с солдатами в железных касках и с автоматами в руках направились к центральной улице, остановились на площади, где стояли здания правления колхоза и станичного Совета. Казаки, заведя непрошенных гостей, попрятались по домам. Напрасно пытались пришельцы собрать казачий сход. На зов глашатая вышли только несколько человек да дед Игнат, который представился старостой, избранным при «первом пришествии», как он изволил заявить.

Высокий худой казак с сизым носом, видно, не внушал до-

верия. Знали немцы, что исполнять роль изменника даже на сцене не всякому актёру-профессионалу приятно, а в жизни простому смертному – тем более. Однако они не замедлили воспользоваться услугами деда Игната. Немцев в первую очередь интересовали вопросы безопасности и есть ли поблизости партизаны. Им нужно было устроить на постой начальствующий состав. С этого и начали.

Анка, завидев нескольких немецких офицеров, приближающихся в её сторону, быстро заперла на ключ дверь и побежала к Чумаковым. На ходу сообщила:

– Немцы идут!

Маняшка – в слёзы. Глядя на старшую сестру, заревели и младшие.

– Не бойтесь, деточки, не пугайтесь, родненькие, – зашептала Дарья Даниловна, присев на корточки и обнимая детей.

Денис Иванович подошёл к окну, встал у стены сбоку и оглядел улицу Анка поспешила к двери, заперла её на засов.

– Не надо, открой! – сказал Денис Иванович, а потом, указав на печь, приказал: – Забирайся вместе с малыми детьми на печь!

Анка встала на лавку, стоявшую у печи, подсадив сначала Маняшку, а потом и других меньшеньких, забралась сама и задёрнула занавеску Шаги слышались на крыльце. Дарья Даниловна взволнованно заметалась по комнате и, обратившись лицом к иконе, крестясь, зашептала:

– Матерь Божия! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших!

Иисусе Христе – Сын Божий, сохрани и помилуй нас!

Денис Иванович присел у стола. Когда раздался стук в дверь, громко крикнул:

– Входите!

Первым в дом вошёл дед Игнат, за ним – два офицера.

– Добрый вечер, Чумак! – шутливым тоном приветствовал староста.

Хозяин поднялся с табурета, что-то буркнул в ответ. Переминаясь с ноги на ногу, виновато поглядывая на Дениса Ивановича, дед Игнат проямлил:

– Я, конечно, извиняюсь...

Помолчав секунду, начал уже более смелым тоном:

– Ты, Денисушка, не серчай на меня... Сам ведь втравил в такое дело... Не думай, что легко мне вертеться промеж двух огней. При исполнении своих обязанностей я вынужден и к тебе доставить на постой двух господинов. – Староста кивнул на старшего по званию и возрасту статного офицера в ладно подогнанной форме.

Денис Иванович, насупив брови, продолжал молчать. Видя такое дело, дед Игнат снова заговорил:

– Воны сказывали, что не будут трогать мирян, если мы не станем выказывать сопротивление или не обнаружат связь с партизанами. А что касается Настеньки – баба виновата сама, потому как встретила постояльцев с поднятым в ру-

ках холодным оружием – топором. Запомнила покойница слова, глаголющие – «с сильными не дерись, с богатыми не судись».

– Прошу прощения, но мне кажется, что господину Чуманову мы не по душе, – вдруг заговорил старший офицер на чистом русском языке, без всякого акцента.

Денис Иванович с удивлением уставился на немца. Он хотел что-то произнести, но староста опередил его:

– Нет, нет, Денис Иванович – добрый казак. Я же сказал вам, что это он забрал к себе сирот Понамарёвых.

– У нас нет оснований для сомнения. Мы пришли, рассчитывая на добропорядочность казака, – заметил тот же немец.

– Ну что ж, будьте гостями, сидайте, – наконец заговорил хозяин, указав на стулья.

– Ну вот и слава богу! Я пойду, а вы располагайтесь тут, – сказал дед Игнат, поворачивая к выходу.

Офицеры, скинув плащи, уселись на стулья. Тот, что владел русским, снова заговорил:

– Ох и надоело нам не сутками, не месяцами, а годами трястись по дорогам, и всё время в напряжении: в дождь, пургу, под открытым небом, под угрозой обстрела... Вы не представляете, как становится легко на душе, когда над головой есть хоть какая-нибудь крыша, когда можно забыться в коротком сне в тёплом сухом помещении.

«А кто, по-вашему, в этом виноват?» – хотел было возмутиться Денис Иванович, но, опомнившись, прикусил язык.

В его душе вместе с ненавистью поднималась бессильная злоба против офицера, говорящего по-русски. «Сукин ты сын, подлец, неужели изменник, пошедший на услужение к врагу! Неужто тебя, прикрывшего позор предательства вражеским мундиром, породила русская женщина?» – возмущался про себя старый казак, стараясь не глядеть в глаза непрошенных гостей.

В хату вошли два солдата – занесли и поставили на табурет картонную коробку. Обратившись к старшему по званию, один что-то сказал. Тот молча кивнул. Солдаты ушли.

Через несколько минут на столе появились консервные банки с красочными этикетками. Выложив всё это, офицеры умылись, причесались и уселись за стол. Дарья Даниловна вышла в другую комнату.

Денис Иванович возился у печи.

– Скажите, хозяин, как вас звать-величать? – спросил немецкий офицер.

– Слыхали ведь, Денисом Ивановичем кличут меня, по фамилии Чумаков.

– Да, верно. Забывчивым стал. Вы уж извините, Денис Иванович, прошу и вас за стол с нами.

– Спасибо, сыт я.

– Может, выпьете?

– Благодарствую.

– Совсем не пьёте?

– Да какой же казак не пьёт?..

– А что предпочитаете?

– Горилку, чачу, чихирь.

– Ну, этого у нас нет. Из крепких напитков только виски да ром ямайский.

– Не слышал про такое, – ответил Денис Иванович.

– Тем более есть смысл попробовать, я налью вам ром. Знаете, что такое ром?

Глядя на золотисто-жёлтый напиток, льющийся в гранёный стакан, Денис Иванович ответил:

– Мабуть, что-то вроде коньяка.

– Совершенно верно, только гонят его из сахарного тростника, но выдерживают так же, как коньяк, – в дубовых бочках.

Поставив стакан перед Денисом Ивановичем, офицер, говоривший по-русски, взял со стола небольшую буханку хлеба в целлофановой обёртке и отрезал ломоть хозяйину:

– Попробуйте.

Денис Иванович поднёс хлеб к носу, понюхал, отщипнул краешек и с удовольствием стал жевать.

– Ну что? Каков хлебец?

– Свежий, вкусный, вроде только что испечённый и остуженный, – ответил старик.

– Должен вам сказать, что испекли этот хлеб в октябре тысяча девятьсот тридцать девятого года в Германии, – сказал немец.

– Не может быть! – сделав удивлённое лицо, воскликнул

старый казак.

– Уверяю вас. Но этот хлеб ещё относительно свежий, мне приходилось пробовать такой же, только выпечки тридцать седьмого года, – сказал офицер.

Денис Иванович присел. И вспомнилась ему поздняя осень сорокового года, когда он гостил у брата на Кубани. На станции Кущёвская играла детвора в паровозик. Один из озорников подбежал к нему и сказал:

– Дяденька, дай копеечку, я покажу тебе, как уходят поезда от нас на Неметчину и как с Неметчины возвращаются.

Денис Иванович бросил пацану пятак. Тот в один миг преобразился, надул щёки и, двигая медленно в такт руками и ногами, произносил: «Хлеб – сало, хлеб – сало». Потом сделал резкий поворот и засеменял, восклицая: «Винтики-болтики, винтики-болтики». Быть может, подумал Денис Иванович с грустью, Гитлер, заключив с нами торговый договор в 1939-м, выкачивал из России хлеб, готовясь к войне против нас, и, наверное, это тот самый хлеб, заготовленный впрок для немецких солдат из русской пшеницы.

– Вы о чём-то задумались, господин Чумаков? – заметил старший офицер.

– Да думаю о хлебе, – ответил старый казак и добавил: – Галеты, заготовленные не в эту, а в ту Первую германскую, пробовал у турок. Захватили однажды несколько ящиков вместе с другими трофеями. Те турецкие галеты были твёрдыми, как камень, а вот такой хлеб вижу впервые. Как же его

сохранили в таком виде?

– Видимо, помимо упаковки хранили в специальных контейнерах с холодильными установками, – объяснил немец и подвинул стакан хозяину.

В это время младшая из девочек, притаившихся на печи, подлезла к краю, высунула голову из-за занавески и, увидев на столе еду, запищала, протянув ручку:

– Ням-ням! Дай ням-ням!

Анка схватила её и усадила на место. Старшая шлёпнула непослушную по голове, и та громко заревела.

– Кто там? – спросил офицер, поднимаясь из-за стола.

– Да это дети наши, – ответила Дарья Даниловна.

Офицер подошёл к печке, поднял занавеску и, увидев, что там и в самом деле трое детей и девушка, успокоился, вернулся к столу, отломил несколько кусочков от булки хлеба, взял плитку шоколада и положил всё это на край печки.

Анка раздала хлеб детям, поделила шоколад. Старшие стали есть, а маленькая, попробовав шоколадку, тут же выплюнула:

– Не нада...

Анка, как и Денис Иванович, тоже попробовала хлеб – и на вкус, и на запах, помяла его меж пальцев, удивляясь свежести и аромату.

– Так за что же будем пить? – спросил старший офицер, снова подвигая стакан к Денису Ивановичу.

Вопрос озадачил казака. Подумав немного, он кашлянул в

кулак и, взяв стакан со стола, наполненный ромом, спокойно сказал:

– Я выпью за своих сыновей, за наш народ, за Россию!

– Значит, за вашу победу? – спросил немецкий офицер, поглядев в глаза старому казаку.

Сердце Дениса Ивановича дрогнуло и сильно забилося, однако внешне он держался спокойно:

– Выходит, так...

Седоусый казак ожидал самого худшего. Во всяком случае, он не сомневался, что немец вырвет стакан из его руки и выплеснет напиток на пол, а потому поставил стакан на стол и смело посмотрел в глаза гостю. Денис Иванович не поверил ушам своим, услышав вдруг: «Молодец! Вот настоящий гражданин! Преданный патриот своей Родины! Пей на здоровье!»

Старик усомнился в искренности немца, но, тем не менее, подумав: будь что будет, поднял стакан и, сделав несколько глотков, опорожнил до дна.

Старший офицер пригубил из пластмассовой дорожной стопочки. Младший, с восхищением глядя на старика, разом опорожнил и свою стопку, потом взял пустой стакан, налил его до половины и поднёс ко рту, сделав всего два глотка. Но поперхнулся, закашлялся, затряс руками. Старший подал ему бутылку рома. Молодой офицер прямо из горлышка стал пить и, схватив вилку, отправил в рот несколько тонких кусочков розово-белого консервированного сала.

Денис Иванович, поглядывая на молодого офицера, нюхал корочку и посмеивался в усы.

– Умеют пить русские! – заметил старший и, подвинув хозяину раскрытую банку, добавил: – Закусывайте.

Денис Иванович положил на тарелочку несколько длинных, тонко нарезанных ломтиков тушёной малосольной свинины, приправленной пряностями, и с удовольствием принялся есть.

– Мамаша, садитесь и вы, поужинаете с нами, – предложил немец.

– Спасибо. Вот разве только хлебушка заграничного попробовать. – Дарья Даниловна взяла два кусочка – белого и серого. – А этот, должно быть, ржаной, – заметила старуха, жуя серый хлеб.

– Да вы ешьте больше, не стесняйтесь, вот фарш колбасный, курятина тушёная.

– Не ем я мясного, но, если позволите, возьму колбаски для детей, они, бедолаги, поди, и вкус колбасы забыли. – Говоря это, Дарья Даниловна взяла четыре кусочка колбасы, подошла к печи, подала детям и Анке.

В это время дверь без стука распахнулась и в хату ввалилась, словно огромная копна, довга Аришка.

– Добрый вечер! Звиняйте за беспокойство, – пробасила она, оскалив большой рот с жёлтыми рядами зубов, похожих на клавиши рояля.

Денис Иванович кивнул. Старший офицер, как галантный

кавалер, поднялся навстречу, а молодой уставился на гостью с нескрываемым любопытством и удивлением, лопоча что-то по-немецки.

Но Аришка ничуть не смутилась, в свою очередь уставилась на молодого немца и воскликнула:

– Ишь, какой весёлый!

Потом обратилась к Дарье Даниловне:

– Я к вам, тётя Даша, за огоньком, нечем печь растопить, погасли все угли.

Дарья Даниловна подала Аришке истёртую коробку, в которой оставалось несколько спичек.

– Садитесь, мадам, – любезно пригласил немец, подвинув гостью стул, и тут же, налив в стопку вина, предложил: – Выпейте?

– Та што вы, я непьющая, – застеснялась Аришка.

– Это слабое десертное вино, – объяснил офицер.

– Довга Аришка! Довга Аришка! – вдруг защибетали детишки, сидящие на печи.

Аришка насторожилась, косо глянула в сторону печи, потом, сделав свирепое лицо, крикнула:

– Цытьте!

Детвора умолкла. Аришка снова заулыбалась и протянула руку к стакану.

– За что же, мадам, будем пить? – спросил немец.

Аришка в нерешительности засмушалась.

– Она у нас не мадам, а что ни на есть мамзель, потому

как замужем не была и с хлопцами не водилась, – посчитал своим долгом заметить Денис Иванович.

Довга Аришка зарделась, опустив глаза.

– Простите, мадемуазель, ваш тост? – не унимался офицер, находившийся в отличном расположении духа.

И тут вдруг довга Аришка смело откинула голову и решительно произнесла:

– Со всей своей удовольствицей выпью за здоровье вашего Гитлера!

Брови старшего офицера дрогнули и сошлись у переносицы, образовав глубокую складку. Светло-голубые глаза сощурились, потемнели, лицо побагровело. Он порывисто встал, резким движением руки вырвал стакан из рук Аришки и поставил на стол. Рука его легла на кобуру пистолета.

– Вон отсюда! – гневно крикнул немец.

Застывшая с разинутым ртом, перепуганная Аришка заморгала тяжёлыми веками и стала пятиться к двери. Открыв спиной дверь, она провалилась в темноту ночи.

– Омерзительное, гадкое существо, – процедил сквозь зубы немецкий офицер и, взяв сигарету, закурил.

– Да это же она по недомыслию. Бог её наделил огромным телом, а насчёт ума поскупился. А раз ума нет – считай, калека, – сказал старый казак.

Дарья Даниловна и Анка ни глазам, ни ушам своим не верили. До этого каждого немца представляли себе зверем о двух ногах... Думая, что всё это инсценировка, неведомо

для чего затеянная немцами, говорящими по-русски, старуха крестилась, шепча:

– Господи, сохрани и помилуй рабов Твоих!

В комнате воцарилось неловкое молчание. Молодой офицер, глядя на старшего, нахмурился и что-то залепетал одеревеневшим от хмеля языком.

И надо было, чтобы в эту минуту в комнату вбежали два котёнка из полуоткрытой двери кладовой. Почуввав запах мясных консервов, котятка, трясая поднятыми трубой хвостами, замяукали, вертясь у стола. Опьяневший окончательно молодой офицер вдруг вскочил, схватил за шкурки обоих котят и, злобно выкрикивая «Гитлер-Сталин! Гитлер-Сталин!», начал ударять несчастных животных мордочками друг о друга с такой силой, что окровавленные котятка перестали пищать и царапаться.

Анка не выдержала. Птицей слетела с печки, вцепилась ногтями в руку обезумевшего офицера, он выпустил сначала одного, а затем и другого котёнка. Схватив обоих, Анка выбежала из хаты.

Перепуганные дети разревелись. Дарья Даниловна с трудом забралась на печку, стала успокаивать малышей. Старший офицер поднялся со стула, подошёл к пьяному и строгим тоном что-то приказал. Молодой фриц шаткой походкой направился к выходу, но старший окриком вернул его. Пьяный немец тяжело опустился на стул и вдруг зарыдал.

Денис Иванович всё это время сидел безмолвно, понурился

седую голову. Из задумчивой отрешённости его вывел спокойный голос немца. Кивком указав на плачущего фрица, сказал:

– Надо бы его уложить.

Дарья Даниловна, которая никак не могла прийти в себя от испуга, услышав, о чём просит немец, спустилась с печки и, суетясь возле стола, быстро заговорила:

– Да, да, ваше благородие, лучше уложить его от греха подалее. Оно ведь одно: что хмельной, что дурной, одинаково.

Взяв лампу со стола, Дарья Даниловна поспешила в комнату, которую называли залом, потому что она была просторней и лучше убрана. Поставив лампу на швейную машинку, хозяйка разобрала постель и, глянув на немца, сказала:

– Укладывай его сюда.

Старший офицер помог юнцу раздеться и подтолкнул его к кровати. Когда тот, размякший и обессиленный, вытянулся на постели, прикрыл его одеялом.

– А вы лягайте на энту, – указала старуха на вторую кровать.

– Я посижу ещё немного. Не хочется мне спать, – сказал офицер, направляясь в переднюю.

Дарья Даниловна с лампой последовала за ним.

Усевшись рядом с хозяином, немец заговорил:

– Беда с молодыми – неустойчивый, неуравновешенный народ. Родственник он мне, брат двоюродный, потому и во-

жусь с ним. Если бы не я, давно предстал бы перед Богом – или на передовой, или по приговору военного трибунала. Идеи фюрера не всех увлекают. Они кажутся удобоваримыми в мирной жизни, а когда им начинает грозить смерть, тогда каждый думает, как бы спасти свою шкуру.

– Ничего удивительного, – начал Денис Иванович, – умирать никому не хочется. Я сам в двух войнах участвовал – в японской и Первой германской. Знаю, как ни храбришься, а внутри дрожь бьёт, особенно перед боем. В атаке совсем теряешься, ожидая, что вот-вот жажнет по тебе. И с переляку даже героем стать можно. Помню, в нашей части один солдатик служил, роста небольшого, весельчак такой. Под Брестом это было. Немец вышиб нас с позиций. Стали мы отходить, а уж ежели сказать по правде, показали нашим спины. Немцы превосходили нас численностью – подбросили им подкрепление. Мы задрали портки и давай драпать. Поодаль – перелесок, а чтобы добежать до него, надо через полянку перейти – гладкую, как скатерть. А немцы шпарят по нас, аж земля гудит, и падают, конечно, многие бойцы. А тот солдатик, помню, Митькой звали, вдруг как закричит не своим голосом. Мы оглянулись, видим – командир нашего взвода подбитый недалеко от него корчится, а Митька с криком повернул обратно к небольшому бугру. Мы, ничего не понимая, за ним и во всю глотку: «Ура-а-а!»

Немцы, видимо, подумали, что к нам подоспела помощь, остановились сначала, а потом назад и давай тикать на свою

позицию. Отбили, значит, мы таким образом атаку благодаря Митьке. Его, конечно, к награде представили, а он человек верующий, истинный христианин, молиться стал усердно да вздыхать тяжело, вместо того чтобы радоваться. Я в тот вечер заговорил с ним, а он уже успел хватить малость и разоткровенничался:

«Хочу к батюшке пойти на исповедь, что-то на душе мутно».

Говорю ему:

«С чего бы это? Другой на твоём месте радовался бы, ведь ты поступок героический совершил».

А он досадливо махнул рукой, склонился ко мне и шепчет на ухо:

«Да тот героизм, Денисушка, с переляку случается, никакой я не герой. В ту минуту в голове у меня замутилось, не совсем, правда, потому как успел подумать: чем бежать по открытой поляне, лучше на бугорок, там окопчик и кухня полевая вверх колесами лежит, укроюсь, думаю, за ней. Добежал я до той кухни, плюхнулся на землю, гляжу, а вы прётё всем взводом. Ну, думаю, что делать? Не лежать же целёхоньким за той кухней, поднялся да за вами. А как начали меня восхвалять, готов был сквозь землю провалиться, потому что видел, какие бывают герои, сложили они головы – вроде бы оно так и надо. Сняли с учёта, с довольствия сняли и – поминай как звали...»

Ну я, конечно, успокоил Митьку, – говорю, на то она и

война, каждому даётся то, что предписано судьбой, а что касается награды, говорю ему, ты заслужил её, потому как, не поверни ты обратно, проиграли бы мы тот бой. – Денис Иванович умолк, а немец глубоко затянулся, пуская кольцами ароматный дымок сигареты.

После короткого молчания Денис Иванович спросил немца прямо:

– Скажите, товарищ, простите, господин офицер, где вы научились так чисто говорить по-русски? Жили в России?

– Нет, немец я почти чистокровный.

– Как это «почти»? – удивился казак.

– Бабушка моя была русская.

– Вот какое дело! Как же вас звать-то?

– Зовите Отто, по батюшке Карлович, по фамилии Лен – всего три буквы. А в России я не жил. Дед мой вывез русскую невесту в Германию. Она и воспитала меня, научила говорить по-русски. Бабушка моя родом из дворян. Жила в Питере, кроме немецкого владела английским, французским, но больше всего любила родной язык. Видимо, тосковала по России. Всё вспоминала родные края и рассказывала мне о них. Вот мне и пригодился теперь русский язык...

– Он бы вам больше пригодился, если бы вы воспользовались им в мирное время, в мирных делах с русскими. Что толку, ежели вы пользуетесь им, когда пришло время меча и огня, – заметил Денис Иванович.

– А тут, папаша, вы не совсем правы. Не владею я русским,

не сидеть бы нам вот так – мирно.

– И то верно. Только я не сумлеваюсь, что тут главное не язык, а дух. Русский дух, унаследованный от бабушки, царствие ей небесное! – Хозяин дома перекрестился.

– Но согласитесь, Денис Иванович, чтобы сочувствовать русским, одного унаследованного духа мало. В Германии многие чистокровные немцы не разделяют политику советского строя и искренне сочувствуют русским. К сожалению, они бессильны помочь вам, разве только человеческим обхождением. А умирать, как ваш солдат Митька или самые отчаянные храбрецы, нафаршированные идеями социализма, не хочется. Война эта, думаю, ни вашему брату, ни нам не нужна...

Отто Лен снова глубоко затянулся и молча уставился в одну точку.

– Да, всякие бывают люди, – продолжил ночной разговор Денис Иванович. – Одни умнее, другие – обойдены Богом. И не приведи Господь, ежели тот, кто недобрал ума от рождения, дорвётся до власти!

Бывалый казак всё ещё находился под впечатлением от недавнего поступка, совершённого пьяным офицером в его доме. И говорил дальше осторожнее, подбирая слова:

– В мирной жизни, а особенно когда военное положение, более опасны буйные молодцы. От них страдают и старый, и малый, и обессиленный войной мирянин, и даже самая что ни на есть безвинная животина.

С таким понятием подошёл старый казак к зверскому обращению молодого офицера с котятами. В этом его поступке таился, да, собственно, не таился, а открылся глубокий политический смысл.

– Ваш двоюродный брат вроде бы парень как парень, причинах и положении. А зло в нём пробудил хмель, но на ком он сорвал это своё зло?

Отто Лен молчал.

– Ведь не котята, а сами люди повинны в таком несчастье, как война. И не простые смертные, а особенно те, кто в советчиках ходят у правителей. Скажем, вы видите, что ваши вожди несправедливо поступают с вами, и уже потому не уважают их. Они вынудили вас идти войной на нас, и вы идёте, потому как ничего не можете сделать. Но почему, скажите, простой немецкий солдат затаил обиду на нашего вождя? Давайте честно разберёмся, в чём Сталин виноват перед немецким народом. Советское правительство пошло на заключение мирного договора с Германией, торговлю подняли на небывалую высоту. Вагоны пшеницы, хлеба, мяса слали вам, а вы нам – винтики, болтики... Гитлер вместо благодарности пошёл с оружием на нас, русских. И не по-благородному, не по-рыцарски. А как разбойник с кистенём среди ночи тёмной.

– Солдатам рейха не дано права думать так, тем более рассуждать и осуждать дела и политику государства, – заметил спокойно Отто Лен.

– Может, и не дано простым людям такого права, потому как у всякого правительства, помимо открытых дел, есть дела тайные, которые держатся в секрете. А вот думать, прежде чем что-то сделать, нужно всякому солдату.

Немецкий офицер не понял, что сказал ему казак, и вопросительно посмотрел на него.

– Вот вы немец, при высоком чине, дозволейте спросить, за что прогневались на несчастную Аришу? Почему не дали ей выпить за здоровье вашего Гитлера?

– Потому что в её словах, да и во всём облике её сквозила фальшь, заискивание идиотки, – с отвращением произнёс Отто.

– Значит, вы, рассудив, поняли, кто она, эта самая Ариша. А другой – не в меру старательный офицер – принял бы на вашем месте слова Ариши за чистую монету, да ещё в услужение себе взял бы эту, как вы выразились, дуру.

Отто не возразил, а Денис Иванович снова повторил:

– Вот видите, разные бывают люди...

В комнате установилась тишина. Дарья Даниловна давно влезла на печь и прикорнула возле спящих детей. Только двое в доме, беседуя, засиделись допоздна.

### 3

Суровый декабрь сорок второго... На смену проливным дождям и ливням явились снежные метели. Белым покры-

валом накрылась ещё не промёрзлая земля. И лишь там, где тяжёлые колёса машин и гусеницы танков оставили глубокие борозды, снег и грязь стали одним месивом. Днём и ночью огромные грузовые машины с орудиями и боеприпасами спешили в сторону Моздока. Там этот страшный груз превращал всё живое в огонь, гарь и тучи дыма.

Одна колонна покидала казачью станицу, другая в неё въезжала. Переваливаясь с боку на бок, танки и бронетранспортёры с трудом двигались по заболоченным широким улицам. Глохли моторы, и тогда из-под брезента высыпали на землю немецкие солдаты. Бесцеремонно, словно вернулись к себе домой, они входили в казачьи дома на правах хозяев, распоряжались, делали всё, что им заблагорассудится. Настоящие же хозяева, казаки, уже успели привыкнуть к такому их поведению и старались держаться в сторонке – подальше от греха.

Здесь останавливались не только те, кого как свежий резерв, силы подкрепления, бросали очередной порцией пушечного мяса во фронтовую мясорубку, но и те остатки разбитых, потрёпанных, измотанных в сражениях, кого отводили с передовой для пополнения и переформирования. В особенности последних – одичавших и озверелых в кровавой вакханалии – боялись люди. Их сторонились и безропотно позволяли делать всё. Ибо препятствовать таким значило рисковать жизнью. Однако даже эти, вырвавшиеся из пекла огненных схваток, старались не трогать так называемые

мых мирян оккупированной станицы. И не потому, что у них вдруг помягчели сердца. Не потому, что они, побывав в лапах смерти, подобтели душой, нет, большинству из них – механически мыслящих, автоматически действующих после многолетней муштры по австрийскому образцу – просто надо было выполнять предписания фюрера – «быть поделикатнее с туземными племенами Кавказа». Более того, этим слепым фанатикам было известно, что Гитлер даже льстил кавказцам, относя их к благородной арийской расе, а значит, к «высшему сорту» человечества. Знал вождь германского фашизма, что такое Кавказ и кавказцы – разноплеменные народы, населяющие эти горы. Собственно, для этого не надо быть талантливым стратегом. Что такое горы Кавказа, знает каждый школьник, прошедший курс истории. Овеянный легендами, он возвышается преградой на великом пути, ведущем из стран севера к царствам юга. По его извилистым каменным коридорам, через крутые перевалы, граничащие с небесными тучами, по узким полоскам приморского прохода со времён глубокой древности начались великие передвижения народов в ту и в другую сторону.

Подкатывались к предгорьям Кавказа и боевые колесницы Александра Македонского, и монгольская конница с кибитками Чингисхана, и отчаянные наездники с юртами хромого Тимура. Повидали седые вершины Кавказа и закованных в латы аскеров Надир Шаха и Шах Аббаса, и лёгкую кавалерию султанов – Сельджука и Османа. Вступали кавказцы и

в единоборство с бесчисленной силой русских самодержцев, перед которыми трепетала Европа. Устоял Кавказ.

Теперь сюда устремил кровожадный взор Гитлер. С берегов Рейна через Кавказский хребет хотел он сделать гигантский скачок к берегам Ганга. В мечтах он уже видел себя во дворце Магараджи в золотом кресле со скипетром в железной руке, с пальмовым венцом на голове, достигшим мировой славы и диктата, потому что, в отличие от Александра Македонского, Чингисхана и Тамерлана, он считал себя способным сокрушить военной техникой современную мировую цивилизацию.

Но фортуна, в которую он, как фаталист, так же слепо верил, как верили в него германские авантюристы от политики и солдафоны, изменила ему. Его судьями и мстителями оказались те народы, кому он в своё время вынес смертный приговор и не смог привести его в исполнение, потому что несокрушимой оказалась сила народов, противостоящая злу фашизма. Позорному пути убийств, насилий и захватов пришёл конец. Тупиками для кровавых путей фашистов стали подступы к Москве, Курску, Сталинграду, Новороссийску. Преградой стал и Кавказ к странам юга. Не суждено было немцам прорваться через Дарьяльское ущелье в Грузию, перепрыгнуть через Терек и пробиться к нефтяному Грозному, а затем через узкую полосу земли, зажатую между Каспием и горами Дагестана, – к заветному Баку, с потоками чёрного золота, которое должно было оказаться в распоряжении

рейхсканцлера к 25 сентября 1942 года.

Здесь, под Моздоком, застряла танковая армия фельдмаршала Листа. Разгневанный фюрер сместил не оправдавшего надежд Листа и назначил главнокомандующим этим участком фронта генерал-полковника фон Клейста. Однако и новому командующему не удалось сдвинуть с места имперские силы. Гористые побережья верхнего Терека, высоты у Малгобека, камышовые плавни астраханских степей с интернациональными полками, подкреплёнными холодами суровой зимы, преградили пути «меченосцам новой тевтонской орды», сменившей кресты на свастику.

И вооружённым новейшими видами лёгких горных орудий, оснащённым до мелочей альпинистам-скалолазам, егерям-виртуозам, отменным снайперам горнострелковых дивизий гитлеровской армии штурмом также не удалось овладеть закованными в ледяную броню северными высотами Кавказа. Не перемахнули немцы через заснеженные перевалы на южные склоны в сторону солнечной Грузии, к Черноморскому побережью Абхазии, к нефтяным скважинам Батуми.

И здесь, на высотах Клухора, Маруха, Кара-Кая, Аманауза боевые отряды интернациональных полков стали заслоном на пути фашистов. Кавказ суровее Европейских Альп. Не только огонь автоматов, пулемётов, миномётов и разрывы гранат настигали летящих лыжников и канатоходцев альпийской дивизии «Эдельвейс», но настигали их и снежные

обвалы, грозные лавины. Находили безвременный конец отборные горные стрелки и в ледяных объятиях расщелин, и в бездонных пропастях, и в глубоких заснеженных ямах-ловушках. Соскользнув с полированной ледяной глади крутых склонов, разбивались они насмерть об острые выступы и обрывистые скалы. И казалось, не только многонациональные советские воины, но и сама природа заоблачных гор так же, как и защитники Сталинграда, выполняла приказ главнокомандующего № 227: «Ни шагу назад». Видимо, потому и от этих рубежей повернули вспять те, кто годами тренировались в Альпах, готовясь к штурму Кавказа. Бежали они, оставив у подножия гор сотни могильных холмиков с касками, на которых была свастика – чёрный крест с надломленными концами, оказавшаяся роковым «знаменем»...

Величайшая битва за Кавказ окончилась очередным поражением фашистов. Не только поверить в это, но, наверное, и представить подобное не мог Гитлер в начале войны, когда его победоносная армия чуть ли не парадным маршем прошла по странам Европы. Но ещё тяжелее было ему осознать, что именно в годовщину создания Германской империи, провозглашённой когда-то Бисмарком, один из выдающихся его полководцев – фельдмаршал Паулюс потерпит позорное поражение и будет взят в плен в героическом городе на Волге. И что именно этот город станет поворотным в судьбах Германии и России.

В начале января сорок третьего года станица была освобождена от фашистских оккупантов. Преследуя бегущего врага, не останавливаясь, регулярные части наших войск устремились на Ставрополь и Армавир. Следом двигались тылы и редкие беженцы, которые, несмотря на январские холода, спешили к освобождённым родным очагам, не дожидаясь наступления тепла.

Станичники хоть и вздохнули облегчённо, но, казалось, ещё не пришли в себя – не верили, что не вернуться снова в их хаты захватчики. Несмотря на лютые морозы, слепящие метели, казачки, особенно молодые, выходили к проезжей дороге, шли к железнодорожному полустанку, неся за пазухой горячие, только что со сковороды, пышки из грубого помола, картошку в «мундире», горшки топлёного молока. Спрашивали, нет ли простуженных, ослабших в пути. Иногда поезда не задерживались, а только замедляли ход, тогда бабы совали бойцам в руки то, что отнимали от себя и детей, на ходу, кому попало. Свои ведь, чьи-то сынки, отцы, мужья. Какая разница, главное – свои...

Ни одна из казачек не признавалась, что, встречая колонны машин, поезда, эшелоны, лелеет слабую надежду – вдруг встретит того, по ком извелась, истосковалась, от кого не было вестей, кого не переставала ждать и верила, что вернётся.

Среди немногих, торопящихся вернуться в свои освобождённые города и сёла, оказался и табор цыган. Но эти современные степняки-кочевники не проехали мимо станицы,

а встали табором на её окраине. Надо сказать, что цыганам некуда было спешить. Свои очаги и свой немудрёный скарб они везли с собой в любое место, разумеется свободное, и там, ночуя под открытым небом, был их родной дом.

В то же время их нельзя считать космополитами, ибо у них есть кочевые пределы. Ну, скажем, одни из цыган кочуют в донских степях, другие в кубанских, третьи – по Украине. Бывают, конечно, случаи, когда цыгане уходят за границы своих кочевий по какой-нибудь причине. Например, в данном случае табор этот загнала в предгорья Кавказа война. Однако дальше Гудермеса – где селилось Сунженское казачество – табор не продвинулся. Но это не значит, что они отказали себе в посещении дагестанских городов в поисках заработков. Их визиты в горную республику носили характер случайный, разведывательный, и не всем табором, а в отдельности, группами по железной дороге, к тому же без билетов и пропусков. Какой может быть билет для цыгана или цыганки, а тем более с грудными детьми или малышами, державшимися за широкие юбки матерей. И кондукторы, и представители железнодорожной милиции гоняли их только для видимости. И самое большое, что всерьёз могли потребовать от них, – это справку о санобработке, потому что сыпнотифозная вошь была не менее опасна, чем бомбёжка. С последним требованием цыгане соглашались, и даже с удовольствием. В железнодорожных баньках можно было враз избавиться от такой неодолимой для цыган напасти,

как вошь, а также отмыть почерневших не столько от солнца и ветра, сколько от грязи цыганят, да и кости свои попарить до пота.

Город не село. Спрос на работу цыганских кузнецов, естественно, в станице или хуторе больше, чем в городах. На станичных базарах цыганам легче было сбыть сработанные ими лопаты, вилы, ухваты, щипцы, топоры, молотки, серпы, косы, подковы, гвозди, кочергу и прочий кустарный товар. Но и он бывал ходовым только в определённое время, скажем, в течение двух-трёх недель весной и столько же осенью. Потом спрос на них падал и приходилось цыганам перекочёвывать в другое место, дальше от юга. Возле крупных, отдалённых от городов селений табор мог оседать и на большее время, особенно в зимнюю пору. Не только мастерам с походной кузницей, но и женщинам-цыганкам могла найтись работа лёгкая, особенно в военное время, когда люди снова вернулись к вере в Бога, искали утешения в молитвах, а то вдруг начинали верить снам, приметам и всяческим гаданиям.

Даже шустрая, легко приспособливавшаяся ко всяким условиям цыганская ребятня и та могла заработать копейку-другую или горстку кукурузной муки задорной пляской или пением злободневных частушек в рыночных рядах или на улице.

С приходом цыган станичникам становилось оживлённее и веселее, хотя замки на двери приходилось вешать покрепче – на всякий случай...

Небольшая рыночная площадь на окраине станицы по воскресеньям наполнялась народом. Сюда стекались не только станичники, но и казаки соседних хуторов. Съезжались горцы из ближайших аулов Чечни и Ингушетии, из Осетии, чтобы повыгоднее продать зерно, кукурузную муку, картошку, сушёные лесные груши и яблоки, шиповник и ягоды. Охотники привозили сюда мясо диких кабанов, сайгаков, дроф, прочую дичь. Надо сказать, что торговые ряды за годы войны заметно оскудели, продуктов не было, зато шумная барахолка пестрела разным товаром.

Чего здесь только не было! Состоятельные казачки стояли в тесных рядах, держа на руках шубы, старинную одежду, шали, ткани, пропахшие махоркой и нафталином, но сохранённые до чёрного дня с николаевских времён. Старьёвщики занимали отдельные ряды. Разложив на земле начищенную и отглаженную старую рухлядь, они громче других зазывали покупателей, расхваливая свой товар. Спекулянты-мешочники вели себя тише, стараясь не обращать внимания на себя, продавали ходовые отрезы шёлка, коверкота, бостона и хорошую обувь, спрос на которую был большой, в особенности у горцев. Чуть дальше ряды были скромнее – здесь предлагали посуду, изделия из металла, вплоть до ржавого гвоздя, который тоже мог сгодиться в хозяйстве.

На задах кучковались цыгане-ковачи со своим товаром – лопатами, вилами, топорами, щипцами, рогаками для горш-

ков и чугунок, косами, серпами, прочими изделиями из железа и меди, пользующимися спросом на селе.

Много вертелось здесь и торговцев, и много покупателей, но были и праздношатающиеся – любители потолкаться, поглазеть, пощупать, прицениться, даже к тому, что им было не нужно. Для некоторых барахолка была местом, где можно было показать себя и поглядеть на других, ну вроде бульвара для гуляний в воскресный день. Здесь же можно было услышать о происшествиях и поболтать о разных новостях...

Анка не любила толкучки, но зато Дуняша была большой охотницей до таких прогулок. Однажды она уговорила Анку прогуляться по базару, пройти по барахолке. Та согласилась. Бесцельно прошлись они по рыночным рядам, потом свернули к толчке. К полудню барахолка заметно поредела, но те, кому некуда было спешить, ещё оставались на местах в надежде сбыть свой товар. Дуняша купила по сходной цене кусок мыла, стоимость которого возросла в десятки раз по сравнению с довоенным временем, и катушку ниток. Когда они подошли к ряду, где продавались кустарные изделия из грубой шерсти, к Дуняше, отделившись от товаров, вихлястой походкой подошла молодая цыганка. Заискивающе глянув в глаза Дуни, а потом остановив взор на её животе, цыганка с улыбкой сказала:

– Чернявая красавица, позолоти ручку, усю правду скажу – что было, что будет, что ждёт тебя...

– Отстань от меня со своей правдой! – пренебрежительно

бросила Дуня и хотела было идти дальше. Но цыганка преградила ей дорогу и, нахально уставившись на Дуняшу, продолжала:

– Скоро ты, милая, на зад похудеешь, а на перёд поправишься и через девять месяцев получишь свой интерес!

Толпившиеся рядом люди дружно рассмеялись. Дуняша залилась краской от смущения, потом грудью оттолкнула гадалку и, уходя вперёд, крикнула:

– Не брещи, бреховка! Это у меня от мамалыги живот вздулся.

– Дай тебе Бог такую мамалыгу, от которой пузо живьём вздувается, – не отступала от Дуняши напористая цыганка.

Во время этой разыгравшейся сцены между подружкой и цыганкой Анка, смущённо улыбаясь, следовала на расстоянии. Другая, старая цыганка, смуглянка, окинув критическим взглядом бледнолицую, застеснявшуюся молодую казачку, смело шагнула ей навстречу и затараторила:

– Светлоликая лебёдушка, не пожалей рублика, хочешь, по линиям руки судьбу определю, покажи ладонь.

Анка сунула руку под платок, словно боясь, что старуха-цыганка ухватится за неё. Она прибавила шагу, но гадалка не отставала:

– На лицо ты – милая, весёлая, а на душе – камень. Счастье вокруг тебя клубком вертелось, а в руки попало да и выскользнуло. И ешь ты, красавица, и пьёшь, словно за стенку кладёшь, да пользы от этого не имеешь, – всё сгорает в огне

душевною.

– Что ты её слушаешь, идём отсюда, – оглянувшись назад, забеспокоилась Дуняша.

Старуха пронзила Дуню глубоко сидящими карими глазами, словно двумя колючками, и, уходя, бросила вслед:

– А ты, бедовая, видно, любишь из помёта выжимать пользу. Остерегайся беды нечаянной. Коли сама не сможешь отвести, не чурайся тех, кто отводить умеет...

Возмущённая Дуняша трижды плюнула в сторону ворожеи.

Какой-то внутренний страх поселился у Анки. Не было сил уйти, грубо оборвать назойливую цыганку. Побоялась она недобрых слов, которые могла ей бросить вслед старуха. А хитрой кудеснице из табора только того и надо было. Не отставая от Анки, застенчиво оглядывающейся по сторонам, цыганка шептала:

– Красавица, не стыдись прохожих, гадать и предсказывать судьбы не грешно, слушать вещие слова не преступно. Царям и королям чтецы Книги небесной судьбу предсказывали. Явлением небесных светил великие народные беды предугадывали. Не бойся меня, не занимаюсь я чёрной магией, но кое-что сказать смогу, если гляну в воду через колечко твоё обручальное или в полночь в зеркало погляжу. – Видя, что Анка испугалась и прибавила шагу, цыганка ухватила её за руку и ласково повторила: – Не бойся, красавица, я по картам гадаю, они уж точно раскроют истину, и за это

возьму недорого – что дашь, тому и буду рада... Не скупись, душа моя, дар твой за Божью милостыню сойдёт, а я тебе всю правду скажу, что было, что будет, что ждёт тебя и господина сердца твоего.

Речь цыганки, заученная на все случаи нелёгкой бродячей жизни, произнесённая с таким умением кудесницы, возымела-таки действие на впечатлительную Анку. Однако, смущённая ироническими улыбками встречных, Анка постаралась вырвать свою руку из цепких пальцев цыганки и едва слышно произнесла:

– Тётечка, зря вы всё это, я ведь не верю гаданиям.

– Не говори так, я-то знаю, что веришь, стыдишься только. Доброму слову всегда надо верить, от этого на душе легче становится. Ну да ладно, если не хочешь здесь, пошли домой к тебе. Где живёшь?

– На главной улице, – ответила Анка, идя впереди и с удивлением повторяя слова цыганки: «Не говори «не верю».

А ведь на самом деле она с Дуняшей уже не раз бегала к бабке Марфе, которая умела ворожить. Да разве только они вдвоём бегали, многие женщины зачастили к ней – с первых дней войны, как только призывали казаков на фронт.

– Далеко ли твоя улица? – прервав раздумья Анки, спросила цыганка.

– Та тут недалече...

– С кем живёшь? – не отставала гадалка.

– Одна, – тихо ответила Анка.

Ворожка довольно улыбнулась, это её больше устраивало, чем присутствие домочадцев. Идя следом за Анкой, она вкрадчиво продолжала:

– Я ведь и привораживать умею, и беду отвести могу.

– Да что вы, тётечка, такое говорите, разве это возможно?

– Возможно, дочь моя, возможно. Вот тебе истинный крест! Пусть Бог меня покарает, если брешу.

Так дошли они до дому.

Войдя в прихожую, цыганка сбросила грязные башмаки и последовала за Анкой в горницу. Небольшая, с низким потолком комната двумя оконцами смотрела на улицу. В одном углу стояла гладко смазанная глиной и чисто выбеленная известью печка-грубка с духовкой. Хорошая в доме хозяйка или нет, станичные бабы судят по виду печки.

В комнате было чисто. В другом углу стояла кровать, покрытая вязаным домотканым покрывалом, у спинки горкой возвышались взбитые пуховые подушки, одна меньше другой. Посреди комнаты стоял стол, покрытый клетчатой скатертью. У наружной стены, между двумя окнами, над маленьким туалетным столиком висело небольшое зеркало в чёрной резной раме, покрытое сверху рушником с кружевами и вышитыми петушками на концах – память сватов. Окна были занавешены дешёвыми гардинами.

Окинув любопытным взглядом небогатое убранство хаты, цыганка задержалась на деревянном добротном сделанном сундуке. Из-под полосатого рядна, покрывавшего его, высту-

пал огромного размера замок. Этот замок, пожалуй, больше всего привлёк внимание гостыи, она не сомневалась, что, если и есть что-то стоящее в доме, там оно и хранится.

– Тёточка, а как вас величать? – спросила Анка, придвигая табурет.

– Лайна, тётушка Лайна, – ответила цыганка. Засунув руку за пазуху, извлекла шёлковый кисет на шнурке и, развязав горловинку, достала замусоленную, с потёртыми углами колоду карт. Когда Анка уселась напротив, тётушка Лайна, глянув на неё тёмными пронизательными глазами, спросила: – На кого кидать велишь, на себя иль на короля?

– Лучше на него, на Василька моего. Давненько вестей от него не получала. Может, узнаете, жив он или нет, аль в плену мается.

Цыганка ловила каждую фразу каждое слово, которое могло пригодиться ей, и сыпала вопрос за вопросом:

– А какой он у тебя, молодой аль в годах, чернявый или белявый?

– Молоденький мой Василёк, глаза серые, брови чёрные, кудри каштановые, нос ровный, губы толстые – добрый, значит, – заключила Анка.

– Бубновый король, – сказала цыганка и, перебрав колоду, вытащила из неё бубнового короля.

– Приложи к сердцу, потом к голове и задумай желание, – ласково сказала цыганка.

Анка взяла карту, сделала всё так, как просила гадалка.

– Верни карту назад. – И сама вырвала у неё из рук короля, бросила посреди стола. И, ловко перетасовав карты, вытянула наугад три, покрыла ими бубнового короля сверху и одну положила снизу, шепча: «Что на сердце держишь, что под сердцем таишь...» Потом с четырёх сторон короля разбросала колоду стопками. Беря каждую, разложила карты крестом. По всем четырём сторонам от короля кинула по три карты. Остальные смешала и разложила веером, потом по концам креста положила по три и стала объяснять: – Жив твой Василёк. Не лёг рядом с могильным крестом. Далеко он находится – в казённом доме, душой болеет за тебя.

– Может, в плен попал? – В голосе Анки появилась тревожная нотка.

– Не могу этого сказать, вижу его около дома того казённого, поздняя дорога выпадает ему. Благородный король возле него с разговором крупным и хлопотами. – Тётушка Лайна указала на пикового короля.

– А что это за дама трефовая возле него? – спросила Анка, ткнув пальцем в ненавистную карту.

– Пожилая женщина. Может, врач или сестра милосердная, потому что нечаянный удар между дамой и Васильком твоим на неприятность и болезнь указывает. А вот ты, доченька, справа от него, рядышком, его любовь и надежда.

Цыганка подняла три карты, покрывавшие бубнового короля, и одну снизу.

– Вот видишь, – гадалка покрутила червовую девятку, из-

влечённую из-под бубнового короля, – под сердцем у него лежит твоя любовь, а на сердце – дом со свиданием поздним и разговором.

Разъясняя значение карт – каждой в отдельности и в сочетании с другими, цыганка всё ловила выражение лица Анки и, видя, как оно оживилось, как засияло ямочками на щеках, осталась довольна собой.

Настроение у Анки и в самом деле стало приподнятым. Сама она знала немного, что значит та или иная карта. В особенности боялась девятки и семёрки пиковой, которые означали удар и слёзы. Но оказалось, что значение имело сочетание одних карт с другими и направление острия пики на карте – вверх или вниз. Если пики не были обращены остриём вниз, то совершенно менялось их значение, зловещий смысл терялся. Старая цыганка, старавшаяся придать всему окраску предсказания, блестяще разбиралась в этих сложных сочетаниях знаков и изображений.

Раскладывала она свои карты и на другой манер – веером сверху вниз, рядами поперёк. Раскрывая их смысл, отбирала попарно и снова добавляла к нечётному остатку, и снова результат гадания оказывался утешительным.

Щедро отблагодарила Анка тётушку Лайну. Дала ей трёшку, семечки, кукурузной сечки и угостила чайком.

– Захаживайте, тётушка Лайна, на досуге, – сказала гостеприимная хозяйка на прощание.

Спокойно уснула в эту ночь Анка. И снился ей Василий

живой и здоровый, из-за какой-то ограды протягивал ей руки, да так и не дотянулся. Проснулась Анка и огорчилась, что не наяву это случилось, а во сне.

С того дня повадилась тётушка Лайна в гости к Анке. Первое время она старательно раскладывала карты, рассказывала заученными замысловатыми словами одно и то же – о любви, надежде, нечаянном интересе, поздней дороге, свидании, выпивке и прочем, связанном незримыми путями с Василием и Анкой. За эти добрые слова, поддерживающие тепло надежды, Анка одаривала старую цыганку не только скромным харчем, делясь последним, но и вещичками из старого замкнутого сундука. Иногда допоздна засиживалась тётушка Лайна у Анки, занимаясь не только гаданием, но и изливая за чашкой чаю и свою душу Смуглое, хмурое лицо старой цыганки, испещрённое сетью тонких морщин, при этом как-то преображалось, становилось мягче, печальнее. Предлагала Анка ей остаться и переночевать, когда та засиживалась допоздна. Но всякий раз цыганка отказывалась, говоря:

– Спасибо тебе, дочь моя, не усну я здесь, стены и крыша давят на меня. Непривычны мы к теплу домов, не возьмёт сон без прохлады ночной и чистого воздуха...

– Откуда вы пришли, как попали в наши края? – спросила как-то Анка.

И тётушка Лайна рассказала ей:

– С Украины бежали вместе со всеми, кто уходил от голо-

да, мора и плена вражеского. А потом от донских степей бежали, враг наступал на пятки... Дошли до Гудермеса и там остановились, потому что дальше были горы и море. А в горах цыганам делать нечего, и у моря тоже. В песчаных бурнах коней не прокормить. Слава Богу за то, что помог русской рати погнать назад германца, Господь бы его захурданил, а то пропали бы и мы.

– А разве немцы вас трогали? – спросила Анка.

– Не то что трогали, а предавали смерти целыми таборами. Раньше ни деды наши, ни предки не ведали такого, чтобы какое-либо из воюющих христианских войск убивало цыган – ничейных кочевников. Не было такого со времён распятия Иисуса Христа Спасителя, потому что в самом Священном Писании был дан запрет трогать цыган.

– А почему такое было предписано только по отношению к вашему народу? – поинтересовалась Анка.

– Да потому что кузнецы-цыгане отказали судьям и палачам Христа выковать гвозди, которыми убийцы Божьи решили пригвоздить Иисуса к кресту Голгофскому. А теперь Гитлер тысячами сжигал венгерских, румынских, других цыган, вместе с жидами в печах огненных. О, Господь бы его захурданил! – повторяла Лайна непонятное Анке слово проклятия.

– Тётушка Лайна, а кто вам сказал, что фашисты уничтожают и цыган вместе с евреями? – снова спросила Анка.

– Кто же может знать всё, что творится на свете белом, как

не мы, кочевой народ. Земля слухами полнится, и не укрыть от глаз и ушей людских злые деяния.

Теперешний германец хуже, чем разбойник с большой дороги, чтоб его на том свете черти на вертеле зажарили! – сыпала проклятия на гитлеровцев старая Лайна.

– Почему же тогда ваши мужчины не поднимают оружие, не идут на фронт вместе с русскими и другими?

– Цыган не вояка, не умеет держать в руках не только винтовку, но даже саблю. И на ножах не бьётся – с кнутом выходит на единоборство. Станет супротив обидчика, и стегаются до тех пор, пока тот не бросит кнут. И никто не посмеет вмешаться, разборонить, ибо удары посыпятся на того, кто остановит схватку. А что касается помощи Красной армии – многие цыгане добровольно пошли служить в кавалеристы, только кузнецами. Это тоже помощь – на неподкованной лошади далеко не ускачешь. Вот и мой брат Левко ушёл с донскими казаками, оставив четырёх детей на жинку-молодку и на меня.

– Тяжело, небось, с ними – одеть, обусть, накормить, четверо всё-таки... – заметила Анка.

– И то сказать, нелегко, не жизнь, а мучение одно... Тем, у кого мужики мастеровые при семье остались, полегче, а нам, бабам безмужним, – мука сплошная...

– Шли бы вы, тётушка Лайна, в колхоз, как-никак на одном месте жить легче, человек с землёй срастается, с людьми роднится. Может, полегче стало бы.

– Пробовали, на Кубани дома для нас хорошие выделили, землю дали и всё, что надо было для труда хлеборобского, но ничего не вышло, не смогли жить в домах, не приросли к земле, видно, бродячую кровь нашу лишь смерть способна успокоить.

#### 4

Дарья Даниловна замечала не раз, как старая цыганка заходит и подолгу засиживается у Анки, и сказала как-то:

– Ты зря приваживаешь в дом эту бреховку, разделает она тебя как охотник белку. Я ведь вижу, как она, уходя, уносит с собой то узелок, то свёрток. Поди, сундук уже переполовинила. А покойная Катерина, свекровь твоя, всю жизнь складывала в него добро бедняцкое...

– Да что вы, Дарья Даниловна, напрасно так плохо думаете о тётушке Лайне. Не смотрите и не судите о ней по виду угрюмому. Душа у неё добрая. И ничего она у меня не просит, сама отдаю ей то, что мне не понадобится, не сгодится.

– А за что отдаёшь? Кто она тебе, родня или подруга? Гадает, небось... Врёт ведь всё, а ты веришь.

– Не то чтобы я поверила всему сказанному, а так... Но только не мошенница она, просто мастерица баять. И слова подберёт, и скажет так, что душу сразу облегчит. Душой ведь я истосковалась так, что свету белому порой не рада, сон не берёт. А тётушка Лайна как нагадает – сразу на душе полег-

чает, сплю спокойно, и работа спорится. Не знаю, кто как, а я за добрые слова, за утешение всё бы отдала. Она ведь тоже нелегко живёт, двоих племянников содержит. Один только Бог знает, какая жизнь в таборе, всегда под открытым небом.

– Кто им виноват? Пусть бы жили оседло на одном месте и трудом зарабатывали себе хлеб, а то ведь на дурницу прожить стараются, – не унималась Дарья Даниловна.

– Оно-то, может, и так, но только мы с вами не переделаем их жизнь. Пусть себе живут как знают, не разбойники ведь они, – заступилась за цыган Анка.

– Не разбойники, говоришь? Зато вороваты... А ну положь попробуй рядом что-нибудь дорогое.

– Да разве они одни воруют! Ворьё среди всякого народа есть... Право же, цыганка Лайна неплохая женщина. Вот вы зайдите как-нибудь вечером, послушайте её, попросите кинуть карты на Назара, увидите, как вам полегчает от её слов.

– Видеть её не хочу, не то чтобы слушать болтуху. Поди, всем одно и то же мелет, дурит таких, как ты, простофиль. Дождёшься ты, Анка, что я сама налажу со двора твою цыганку.

– Не трогайте её, Дарья Даниловна, изведусь я без гаданий. Её слова для меня всё равно что лекарство для больного. Может, я оглупела совсем, что ищу утешения в гадании, но ведь и другие гадают. А иные молитвам предаются – вот как вы... Я же не знаю молитв, не знаю, во что верить... А как хочется верить в хорошее, жить надеждами. Нет ведь

иной утехи в горькой доле жён фронтовиков...

Анка помолчала немного, потом, грустно взглянув на Дарью Даниловну, продолжила:

– Ведь мне тяжелее, чем вам. Я одна-одинёшенька, а у вас Денис Иванович, Настенькины детишки. Отдать мне Маняшу не хотите, чтоб не разлучать детей, так вот и рада я той же цыганке Лайне. Сама за нею хожу, не раз к ним в табор заглядывала, на племяшей её посмотрела, на жизнь цыганскую.

Жалела Анка тётушку Лайну, особенно после того, как поведала она о своей нелёгкой судьбе, о давно пережитом, но не забытом горе своём. Вот её рассказ:

«В те давние годы юности и я была молодой и красивой. И, на мою беду, тогда тоже пошёл германец войной на Россию. Но только та война была вроде бы потише. Одни солдаты да предводители дрались промеж собой, а мирян и нас, цыган, не трогали.

И надо же было случиться, чтоб табор наш оказался поблизости от фронта. В те времена фронт подолгу держался на одном месте, потому как вояки, каждый себе, выкапывали окопы, сидели в них и пуляли в противника. В тот первый военный год я замуж вышла, как раз летом дело было. И месяца не успела прожить с любимым, как беда стряслась.

Поехали после свадьбы мы с мужем в селение одно, к тамошнему цыгану-кузнецу. Тот цыган женился на сельской девке и покинул табор.

Мужу моему он родственником доводился. День был ясный, солнечный. Едем мы в бричке, разговариваем весело, любуемся друг другом, песни поём. Только хотел было мой Гаврил свернуть с тракта на просеку, как вдруг осадил буланого. Глянула я и увидала на обочине дороги под кустом раненого солдата русского. Лежит бедолага, стонет жалобно.

Гаврил спрыгнул с брички – и к нему, помочь хотел, а солдат вдруг говорит:

– Оставь меня, час мой настал, умираю. Ты, браток, лучше просьбу мою последнюю исполни.

– Исполню, говори.

Солдатик тот и повелел:

– Возьми в моей сумке ножницы, спустись в овраг. – Раненый кивнул в сторону балки. – Там внизу промеж кустов под землёй провод тянется от вражеского телефона. Ты перережь его и тем сослужишь службу – не мне, а матушке нашей России.

Схватил мой Гаврила ножницы и бегом в ту балочку. А я к служивому подошла, села на корточки, спрашиваю:

– Чей ты родом? Откуда?

А он тихо, загробным голосом просит:

– Воды...

Бросилась я к бричке, взяла кувшин – и к нему. Приставила горлышко ко рту, он сделал глоток, потом уронил голову и захрипел. Жалость охватила меня, гляжу на умирающего, молоденький совсем, думаю, вот ведь горе какое, а где-то

мать или жена не знает, что их касатик в эту минуту отдаёт Богу душу. Стою плачу, а сама думаю, как вернётся мой Гаврила, предадим солдатика земле и поедем дальше. И вдруг слышу крики внизу, в балке, не по-русски кричат, потом слышался выстрел и голос Гаврилы, на помощь зовёт:

– Лайна-а-а!

Птицей слетела я в ту балку, гляжу, на самом дне её, где вьётся промеж травы зелёной ручеёк, несколько человек в незнакомой одежде свалили мово Гаврилу и бьют смертно. Бьют прикладами да сапожищами по голове, по лицу окровавленному.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.